А. ВАЛЛОН

От действия к мысли

И * Л

Издательство
иностранной
литературы

*

HENRI WALLON

DE L'ACTE À LA PENSÉE

ESSAI DE PSYCHOLOGIE COMPARÉE

PARIS, FLAMMARION
1942

АНРИ ВАЛЛОН

От ДЕЙСТВИЯ *к* МЫСЛИ

ОЧЕРК СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Перевод с французского
Е. К. АНДРЕЕВОЙ
и Ю. В. ЖУКОВОЙ

Общая редакция
и вступительная статья
проф. А. Н. ЛЕОНТЬЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1956

АННОТАЦИЯ

Книга Анри Валлона „От действия к мысли" — ценное исследование известного французского ученого-психолога и прогрессивного общественного деятеля. Автор — один из наиболее авторитетных представителей материалистической психологии во Франции.

В данной работе Анри Валлон предпринимает попытку с материалистических позиций исследовать важнейшую проблему психологии — мышление в его связи с практическими действиями.

На этой основе автор рассматривает формирование психики.

Редакция литературы по вопросам философии и психологии

Заведующий редакцией
кандидат философских наук В. А. МАЛИНИН

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Анри Валлон является одним из крупнейших современных французских психологов. Он родился в Париже в 1879 году, окончил Эколь Нормаль со званием преподавателя философии, затем получил степень доктора медицины и доктора ex lettres.

С 1927 по 1950 год Валлон — директор Ecole pratique des Hauts-Etudes, одного из выдающихся научных центров Франции, который был создан Пастером для развития исследований в более широком и независимом плане, чем это допускали рамки официальной науки Сорбонны. В тот же период Валлон занимает место профессора психологии в Collège de France. Здесь его педагогическая работа продолжалась до 1941 года, после чего под давлением вишистского правительства он должен был ее прекратить.

Помимо научно-исследовательской и научно-организационной работы, Валлон занимается большой общественно-политической деятельностью. Он состоял членом Главного комитета (Comité Directeur) Национального фронта во время оккупации, а в момент освобождения Парижа становится Генеральным секретарем Министерства национального просвещения (что равнозначно должности министра). Он избирается делегатом национального фронта (1945) и депутатом от Парижа на Конституционной Ассамблее 1946 года. После смерти П. Ланжевена Валлон замещает его на посту Президента Комиссии по реформе образования во Франции. Валлон — член Коммунистической партии Франции.

Монография Валлона «От действия к мысли» — одно из его капитальных теоретических исследований. Оно посвящено проблеме происхождения мысли или даже

шире — сознания. Автор исследует вопрос об условиях и процессе перехода от поведения внешнего, собственно двигательного к мысли, к сознанию.

В кратком «Введение» к этой монографии Валлон бегло очерчивает свои методологические позиции. Вначале было *дело*, а не слово, не мысль. Но каково соотношение между ними? Это и подлежит исследованию сравнительным методом. Сравнительно-генетическое изучение, пишет он, не должно довольствоваться простым описанием последовательных этапов развития; следует изучать самые *переходы* от одного этапа к другому. Но для этого необходимо освободиться от тех бесплодных теоретических установок, которые свойственны традиционной буржуазной психологии. Таким образом он намечает *критический* аспект своего исследования.

Уже первая глава книги Валлона начинается с критического анализа субъективно-психологической ассоцианистической психологии, которая трактует сознание как совокупность психических элементов — образов. Автор указывает, что эта субъективистская концепция сознания неизбежно влечет за собой примысливание некоей особой внутренней силы, подобно тому как это было сделано Бергсоном; другие идеалистические попытки трактовать развитие сознания с позиции субъективистской концепции являются столь же неудовлетворительными.

Особенно внимательно автор анализирует наиболее значительные, по его мнению, работы, которые были предприняты в области онтогенетического исследования мышления, — работы Ж. Пиаже.

Отмечая важность результатов, полученных Пиаже, автор вместе с тем дает весьма глубокую критику его теоретических позиций. Объяснительная система Пиаже, пишет он, поучительна потому, что, внешне противостоя традиционной субъективистской психологии сознания, она тем не менее сохраняет ее методологические пороки. У Пиаже прежние понятия просто перевернуты: место субъективных образов у него заняли движения, и хотя он начинает не с сознания, а с движения, однако переход от движения, от «моторных схем» к умственной активности у Пиаже не выступает как продукт подлинного развития. «Моторные схемы» (то есть системы двигательных связей, лежащих в основе выполнения двигательных ак-

тов) просто интерпретируется им логически. Таким образом, он может показать возникновение сознания только потому, что его существование он уже предполагает наперед. В результате у Пиаже реальное растворяется в идеальном. Конечно, Пиаже приписывает решающую роль в развитии сознания внешнему опыту. Но, замечает Валлон, имеется множество примеров, начиная с Беркли и до неопозитивистов, которые показывают, что эмпиризм вовсе не непримирим с идеализмом.

Валлон подчеркивает несостоятельность психологии, которая ищет источники и элементы психического в индивиде, взятом вне общества. Подобная робинзонада необходимо влечет за собой допущение самосозидания.

С другой стороны, автор критикует Пиаже за то, что он исключает из психического развития ребенка роль биологического *созревания*, отрывает психическое развитие от формирования анатомических структур.

Развивая мысль об относительной независимости процесса созревания, Валлон указывает, что речь идет не о какой-то предустановленной гармонии между созреванием и развитием психики; что роль нервных структур в психической жизни сама определяется их историческим развитием.

Уже здесь Валлон ставит проблему о противоречиях развития; не бывает, пишет он, переходов от одного уровня развития к другому без нарушения равновесия — равновесия внутреннего или равновесия с внешним миром. Именно с этими нарушениями, столкновениями (affrontement) субъекта со средой и связано возникновение его психических реакций. Являясь следствием, они одновременно играют и роль причины. Через них осуществляются возможности живого существа воздействовать на вызывающую их среду и познавать ее в ее пространственном существовании и в ее свойствах.

Особенно возрастает роль психических реакций у человека, который живет в как бы удвоенной среде, то есть не только в среде физической, но и в среде общественно выработанных представлений. Хотя обе эти среды находятся в постоянной связи, однако способы реагирования на воздействия той и другой различны, и это порождает новые противоречия. Ведь способ действия по отношению к одной — внешнее движение, по отношению к другой — мыслительная, «символическая» деятельность.

Без учета этих противоречий нельзя разрешить проблему рождения мыслительного плана; без признания роли общественного сознания нельзя понять, как совершается переход от «моторных схем» (Пиаже) к мысли.

Таковы те основные положения, одновременно критические и позитивные, которые выдвигает Валлон в этой главе своей монографии.

Характерным для этой главы (как и для монографии в целом) является продуктивный характер того критического анализа, который дает автор. Он ставит ряд теоретических вопросов, которые часто игнорируются, но мимо которых глубокое исследование действительно не может пройти. К их числу относится, в частности, и упомянутая проблема того, как вообще возможно теоретически представить себе переход от плана действия к плану мысли, не «прерывая» линии развития и не исследуя специальных условий и факторов происходящего при этом *качественного* изменения. Очень важным является и то, что автор видит необходимость научно объяснять развитие исходя из анализа противоречий. Чтобы научно объяснить развитие, нужно выделять не сходство или тождественность явлений, характеризующих разные ступени развития, а как раз напротив — нужно выявить их различия и исследовать условия возникновения этих различий.

Среди выдвинутых в этой главе вопросов есть и такие, самая постановка которых является дискуссионной.

Иначе, чем у Валлона, формулируется в марксистской науке, например, такая проблема, как проблема возникновения у человека «удвоения среды» (имеется в виду факт возникновения общественного сознания, общественно выработанных представлений и понятий). Нельзя признать удачным также термин «символическая» активность, под которым автор разумеет мыслительную деятельность, оперирующую со словесными значениями. По-видимому форма, в которой автор ставит эти проблемы, объясняется тем, что, радикально пересматривая ряд кардинальных буржуазно-психологических положений, он сохраняет терминологию работ, которые им критически анализируются.

Вторая глава первого раздела монографии посвящена психологическому направлению, которое Валлон называет «психологией ситуаций». Он обозначает этим термином

всякое учение, рассматривающее поведение и психические процессы как *непосредственные* реакции на внешние воздействия. Анализируя возможность такого объяснения, автор довольно подробно и сочувственно излагает учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности.

Это изложение, поскольку оно не учитывает более поздних публикаций, не является полным. К тому же автор допускает известное терминологическое смешение, употребляя некоторые широко распространенные, но отнюдь не павловские термины («перенос», «эффект» и др.). По сути же самые *основы* учения Павлова изложены им верно.

Автор предупреждает против выводов из учения Павлова в духе механицизма. В этом направлении им и строится разбор павловского учения как учения о *физиологических* основах психики.

Среди вопросов, которые обсуждаются автором в связи с павловским учением, он особенно подробно рассматривает вопрос об отличии лабораторных, экспериментально вырабатываемых у животных условных рефлексов от условных рефлексов натуральных. Он указывает на огромное усложнение условий образования натуральных условных рефлексов, то есть таких, которые вырабатываются в условиях естественной, всегда очень сложной среды. В этих условиях нет специального выделения на общем фоне нейтральных раздражителей, которые затем ставятся в связь с раздражителями безусловными, как это происходит в лаборатории. В естественных условиях животное само должно осуществить сложную ориентировку во множестве различных, одновременно воздействующих на него раздражителей. Поэтому здесь обнаруживаются сложные факторы, влияющие на выделение одних раздражителей преимущественно перед другими. Это и состояние потребностей (аффектов), и характер раздражителей по их отнесенности к различным, так сказать, биологическим сферам или жизненным отношениям. Валлон ссылается на данные исследований условно-рефлекторной деятельности детей раннего возраста, проведенных Винчем, которые показывают сложность факторов возникновения реакций на нейтральные раздражители (то есть ориентировочных рефлексов) уже у младенцев; в частности, он отмечает особое значение общения с матерью и выразительного поведения.

Следующий большой вопрос, рассматриваемый автором, это — вопрос об элементарном условно-рефлекторном поведении и наглядно-действенном, «ручном» или так называемом «практическом» интеллекте человекообразных обезьян. Здесь автор подвергает анализу главным образом данные известного исследования Келера (опыты Колтушевской лаборатории И. П. Павлова были ему, по-видимому, неизвестны).

В этом анализе многое может показаться недостаточно критически раскрытым, но *положительная* сторона заслуживает самого пристального внимания. Здесь, как и в предшествующей главе, автор выдвигает ряд теоретических вопросов, углубляющих понимание ряда принципиально-психологических вопросов. Таков, например, вопрос о соотношении «поля восприятия» и «поля действия» животного (который, по сравнению с тем, как данный вопрос решается Келером, автор трактует в противоположном смысле), вопрос о принципиальном отличии действия «с самими предметами» от действия «среди предметов» и т. д.

Автор заключает главу выяснением соотношения наглядно-действенного, практического интеллекта и собственно мышления. Его основной тезис заключается в утверждении качественного различия между тем и другим; собственно мышление — это речевое мышление, мышление посредством слов. Такое мышление требует применения языка и имеет общественную природу. Его источник — общество, его материал — система общественно выработанных представлений и понятий. Оно является специфически человеческим. У ребенка даже мышление, которое на первый взгляд кажется «чисто наглядным», совершается под влиянием речевых представлений, которые он усваивает от окружающих.

Проблема специфичности мышления человека разработана автором особенно подробно. Он приводит многочисленные ссылки на свои данные и на данные других авторов; он привлекает также сравнительные материалы из области патологии (афазия).

Оценивая эту главу в целом, приходится повторить сказанное в связи с первой главой: она содержит в себе ряд положений, которые могут вызывать критическое к себе отношение, но вместе с тем в ней много творческих мыслей, обогащающих психологическую теорию.

При этом общее направление, в котором идет автор, является, несомненно, прогрессивным.

Заключительная глава первой части книги названа «Миф и разум». Она посвящена проблеме, которая автором уже была поставлена в предшествующих разделах, а именно проблеме *перехода* к речевому мышлению, к сознанию.

Показав невозможность понять возникновение мышления путем непосредственного перехода от внешнедвигательных операций к внутренней мыслительной деятельности, Валлон обращается в этой главе к анализу ранних, примитивных форм сознания людей. Он критически рассматривает приводимые рядом авторов материалы о «мифологическом» мышлении и о ранних, тоже «мифологических» и «магических» представлениях у маленьких детей (Леви-Брюль, Блондель, Пиаже).

Основная мысль автора состоит в том, что между практическим, действенным и поэтому всегда, конечно, адекватным познанием и первоначально еще не полными и не совершенными, а поэтому необходимо неадекватными мифическими сознательными представлениями существует и единство, и противоречие. Магическое, мифическое, часто ритуального порядка сознательное поведение не просто внешне сосуществует с практическим поведением. Противоречие обоих этих планов поведения есть противоречие внутри *единой* жизни человека в окружающем мире, в обществе. Столкновение между собой объективных свойств и объективной, так сказать, логики вещей, открывающейся при непосредственном практическом взаимодействии с предметным миром, с одной стороны, и круга общественных, первоначально неадекватных представлений, которые человек усваивает в процессе общения с другими людьми, — с другой, и составляет движущее противоречие развития теоретического мышления. Попытки объяснять видимое невидимым, говорит Валлон, это — не род аберрации, которая якобы отвращает первобытного человека от реальности и которая, в противоположность нашим усилиям, направленным на научное познание мира, заставляет его предпочитать мистическое (surnaturel) натуральному. Это необходимое условие всякой умственной попытки, когда ее цель — перейти за пределы непосредственных данных жизненного опыта и найти лежащие за результатами, в вызывании

которых принимает участие наша собственная деятельность, причины этих данных, из знания которых могут быть извлечены способы поведения (procédés), способные воздействовать на них иначе, чем в форме непосредственной, сенсомоторной реакции.

Валлон и в этой главе не остается на чисто «интеллектуалистических» позициях; в формировании особенностей ранних форм мысли он выделяет важную роль аффектов, аффективности.

Интересна попытка Валлона переосмыслить данные о ранних, тоже «мифологических» представлениях детей, описываемых многими авторами и в том числе Пиаже. Критика, которую дает прежним объяснениям этого явления Валлон, исходит из той же общей идеи: явления эти — продукт противоречивого по своей природе развития дискурсивного, сознательного мышления.

Этой главой и заканчивается первая часть монографии, посвященная преимущественно критическому рассмотрению состояния проблемы развития мышления. Эта часть монографии имеет своей задачей подготовить положительное решение данной проблемы. Но нужно сказать, что во многом она уже дает положительное освещение этой проблемы, однако, пока в более общей форме.

Вторую часть монографии Валлон начинает с указания на две различные, уже отмеченные им, функции интеллекта; одна из них проявляется в плане практических актов с непосредственно *наличными* объектами, другая — в предварительном построении действия в уме, в плане представления, сознания. Последнее, соединяя отдельные акты только мысленно, и создает для человека «удвоенность» реальности: реальности наличной, непосредственно воздействующей на поведение, и реальности только представляемой, мысленной. Эта удвоенность является внутренним условием развития. Так как последняя имеет своим источником общество, то вне воздействия общества нельзя понять развития мышления индивида. Простые же параллели с биологическими формами приспособления не могут решить проблемы развития человеческой мысли. Параллелизм этого рода, говорит Валлон, лишь «играет в прятки с трудностями».

В развитии человека имеется своеобразная диалектика естественного и общественного: человеческая деятельность немыслима без социальной среды, но человече-

ское общество не могло бы существовать без индивидов, обладающих такими задатками, как задатки к речи, которые требуют определенного строения их мозга.

В этой связи Валлон снова возвращается к очерченной им ранее теории развития и созревания органов. Развиваемая им концепция исходит из допущения того, что «органическое созревание независимо от функционального развития» — положения, которое, на наш взгляд, является неприемлемым. Это положение, однако, не занимает сколько-нибудь решающего места в воззрениях автора на развитие.

Как же происходит переход от внешнедвигательной реакции, вызываемой объектом, к мысленному представлению о нем? Этому вопросу Валлон посвящает две главы: «Подражание и представление» и «Ритуалы и представления».

Формой деятельности, которая связывает между собой движение и представление, является подражание, подражательные действия — таков тот ответ, который дает автор. Особо он выделяет и рассматривает с этой точки зрения «ритуальное» подражание.

Валлон посвящает доказательству этого совершенно оригинального и несколько неожиданного тезиса многие страницы. В рамках вводной статьи невозможно, конечно, изложить эти доказательства и дать их анализ. Я ограничусь поэтому лишь некоторыми замечаниями оценочного, так сказать, характера.

Следует признать, что общий ход мысли автора представляется очень интересным. Схематически его можно изложить следующим образом.

Пока субъект действует среди немногих вещей и по отношению к ним, формирующиеся у него движения (и соответствующие им сенсомоторные связи, «двигательные схемы») являются вполне отвечающими задачам поведения приспособления. Поэтому формирование этих актов может развиваться до каких угодно степеней сложности, без перехода к новому — к появлению таких образов, которые не просто соответствуют уже существующим вещам, наличным в опыте субъекта, но которые суть образы вещей, непосредственно на субъект не воздействовавших, то есть которые представляют собой только мысленные, «творческие» представления. Однако никакой мысленный образ не может родиться вне действия вне

моторной основы. Для того чтобы допустить возможность возникновения мысленного образа (представления), отделенного от самого объекта, нужно допустить существование действий, которые сами не были бы ответом на непосредственное воздействие *наличного* объекта. Оказывается, что такие действия возможны: это — действия, *подражающие* действиям других людей, выработанным на основе более широкого опыта, чем опыт индивида, и по содержанию своему иного, чем содержание той ситуации, в которой происходит само подражание. Таким образом, хотя основа мысленного плана есть план практического действия с вещами, но он является его основой не непосредственно, а через общественный опыт действия, воспроизводимый индивидом, в процессе подражания действиям других людей.

Интерес этой главы определяется, в частности, тем богатым материалом изучения форм подражания у детей, который советскому читателю мало известен. Это относится прежде всего к действительно очень важным данным исследования Люке, которые подробно приводятся автором. Таким образом, глава о подражании опять-таки вводит новую проблему, обогащающую психологию.

Заслуживает внимания также анализ, который дается в этой главе роли речи, как необходимого условия перехода к сознательным представлениям. Здесь автор приводит данные о развитии речи у детей, которые он освещает с точки зрения своей концепции развития; в частности, он особо выделяет значение перехода ребенка от однословной речи к связыванию слов в первые предложения.

Более спорной является попытка Валлона выделить в подражании специфическую его форму, которая выражается в «ритуальных», как их называет автор, движениях. Коротенькая глава, посвященная этой форме подражания, занимающая всего 8 страниц, построена на историко-этнографическом материале. Она, по указанию самого автора, должна дать лишь *иллюстрацию* из области исторического развития мышления того соотношения, которое существует между подражательными действиями и представлениями.

В указанных главах книги мы находим и такие положения, которые вызывают чувство некоторой неудовлетворенности. Не удовлетворяет, например, то, как автор

освещает концепцию так называемой гештальтпсихологии. Недостаточно полное критическое освещение дает автор концепции Фрейда, по сути обходя основные его положения. Но, конечно, решают не эти отдельные положения. В целом же данный раздел книги представляет серьезный интерес.

Заключительная третья часть книги Валлона, которая называется «Первоначальные основы мысли», посвящена более специальным вопросам развития мышления. Это — вопрос об отношении между значением и означаемым, вопрос о так называемом «синкретизме мышления» на ранних этапах его развития у ребенка и вопрос, который автор называет проблемой «основных условий дискурсивного мышления» — проблемой соотношения непосредственного восприятия и мышления.

Относительно более подробно изложена глава, посвященная первому из указанных вопросов. В освещении этого весьма сложного вопроса, вокруг которого идут дискуссии не только в психологии, но и в языкознании, автор делает творческую попытку преодолеть как идеалистические воззрения на отношение между значением и означаемой реальностью, так и вульгарные, по сути механистические, представления о природе значения. На разборе последних он главным образом и сосредоточивает свой анализ.

С точки зрения автора, происхождение значения не может быть понятно как порождаемое непосредственно опытом практического взаимодействия субъекта с предметным миром. Воздействие, служащее животному сигналом реальности, не обладает еще значением. Обезьяна пользуется палкой, то есть связывает действие с палкой и палку с действием, но она не оперирует представлением о палке, у нее нет *значения* палки как орудия.

Другое дело — сигнал, символизирующий некоторую реальность. Такой сигнал-символ не является для субъекта просто одним из элементов ситуации, связанной с другими ее элементами; он выделен для субъекта из ситуации и в известном отношении противостоит реальности, которую он означает. Он является «субститутом» той реальности, которую он означает, а не частью ее. Поэтому возникновение значения является вместе с тем возникновением плана сознательных представлений, плана мысли. Сам по себе знак, имеющий значение, может не

находиться в отношении сходства или подобия или в каком-нибудь вообще предметном отношении, в предметной связи с тем, что он значит. Поэтому нужно отказаться от наивного натуралистического понимания природы значения. Значение имеет общественно-историческую природу; оно — продукт общения людей в коллективе. Усвоение языка — особый, специфический процесс, отличный от образования простых ассоциативных связей одного элемента ситуации с другими ее элементами или с ситуацией в целом.

Употребление языка предполагает «символическую функцию» (то есть функцию значения), которая состоит в способности находить для объекта мысленное представление о нем и для этого представления — знак. Конечно, когда речь идет об усвоении уже сложившегося языка, то он кажется прямо вносимым извне; кажется, что нужно только научиться соединять каждое слово с соответствующим понятием. Однако только наличие специфической «символической функции» делает это возможным. В противном случае, как это показывают некоторые патологические данные, возникает простая дрессура, в результате которой звуковые сигналы не приобретают подлинного значения, то есть не становятся подлинными словами.

Язык (le langage) есть средство выражения сознательных представлений, мысли, а не пассивная копия («калька») непосредственных данных сенсомоторного опыта. Язык всегда соединен с представлениями и понятиями, носителем которых он является; при этом он может иметь, конечно, также и значения, отражающие аффективные состояния самого субъекта.

Вопросу о становлении различных уровней сознательного представления, сознательной мысли и посвящены дальнейшие главы. Автор также ставит этот вопрос исторически, как вопрос о стадиях перехода от действия к мысли в онтогенетическом развитии, в развитии ребенка. Он возвращается к Пиаже и другим авторам работ по детской психологии и рассматривает ряд описанных ими явлений, характерных для мышления маленьких детей: явления так называемого «зрительного реализма» и «интеллектуального реализма», явлений «трансдукции» и «синкретизма».

Анализ, который автор дает этим явлениям, исходит из признания противоречивости, проявляющейся в разви-

тии между чувственным и словесным, мыслительным. Он указывает на взаимодействие этих двух планов, как на необходимое условие развития от наиболее ранних форм мышления к мышлению развитому — понятийному, дискурсивному.

Отмечая, что сознательная мысль «модифицирует» непосредственно чувственно воспринимаемое, автор вместе с тем указывает, что это вовсе не значит, будто реальность конструируется сознанием. В процессе ли практических реакций, в развитии ли сознания мысленные связи (constellations) подчинены *реальному* строению вещей. В ходе развития оба эти плана все более приходят в соответствие друг с другом, и познание становится все более правильным и глубоким.

Именно в свете этого представления о противоречивом движении развития познания автор и трактует наблюдаемые у ребенка противоречия в осознании им мира, конкретно выражающиеся в указанных выше явлениях, описываемых исследователями детского возраста.

В этой связи автор кратко останавливается на анализе тех трудностей, с которыми сталкивается ребенок; это — отношения, антиномии единичного и множества, части и целого, тождества и различия и т. п.

Содержание последней главы монографии является с теоретической стороны завершающим систему взглядов автора, хотя она и построена на теоретическом анализе отдельных вопросов. Это — вопрос о чувственно-двигательном и понятийном отражении пространства и вопрос о так называемой константности в восприятии объектов.

Автор развивает в этой главе те же идеи, что и в предшествующих главах монографии. Поэтому нет надобности останавливаться на них еще раз.

В кратком «Заключении» Валлон резюмирует ту принципиальную точку зрения, которая отстаивается в его монографии. Нельзя изучение развития подменять простой констатацией последовательности явлений (post hoc prgpter hoc). Мысль не рождается по прямой линии из действия, хотя действие и лежит в ее основе. Процесс развития от действия к мысли может быть понят лишь при признании одновременно и их противоположности, и их тождественности. Этим последним положением Валлон и заканчивает свою книгу.

* * *

Нам осталось дать общую оценку монографии Валлона.

Это — очень серьезное и содержательное теоретическое исследование, написанное с прогрессивных научных позиций. Оно исходит из основного материалистического положения о первичности и независимости существования реальности и о вторичности сознания. Оно рассматривает развитие диалектически — как процесс, которому свойственны внутренние противоречия. Оно подходит к человеку, как продукту развития в условиях общественной среды, в условиях общества. Наконец, оно исходит из признания того, что психическое неотделимо от физиологического, от мозга.

Вместе с тем, в своем исследовании автор нигде не говорит о марксизме, о диалектическом материализме. Даже касаясь собственно философских взглядов, например, Канта, Беркли и др. и критикуя эти взгляды, он не противопоставляет им взглядов классиков марксизма. Сама критика буржуазных философско-психологических взглядов, которую ведет автор на протяжении всей книги, дается им без раскрытия социального и политического их смысла. Все это ведет к тому, что, так сказать, «философское кредо» автора в данной работе нигде прямо им не формулируется и выражено лишь в самом ходе исследования. Поэтому необходимым дополнением к этой монографии Валлона является его более поздняя статья «Психология и диалектический материализм», публикуемая в настоящем издании.

Крупным и важным достоинством монографии Валлона «От действия к мысли» является то, что она проникнута духом живой, чуждой всякого догматизма мысли. Конечно, далеко не со всеми отдельными положениями автора можно безоговорочно согласиться; некоторые из них нуждаются в серьезном критическом анализе. Но главное значение монографии Валлона состоит в том, что она содержит в себе много творческого, двигающего научную психологическую мысль вперед.

А. Н. Леонтьев.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Издание на русском языке моей книги «От действия к мысли» доставляет мне глубокое удовлетворение. Я вижу в этом упрочение связей между советской и французской интеллигенцией. Теперь эти связи с очевидностью вновь активизируются. Работы ученых Советского Союза широко публикуются во Франции и изучаются с большим интересом. Обстановка была иной, когда появилась книга «От действия к мысли». Это было в 1942 году. Франция была оккупирована. Мне запретили преподавание. Я вел подпольную работу в рядах Национального фронта. И тем не менее благодаря одной из случайностей, тогда достаточно частых, мою книгу можно было видеть выставленной в витрине одного нацистского книжного магазина, расположенного посреди Латинского квартала, в нескольких шагах от Сорбонны.

Несмотря на все полицейские или политические запреты, французская интеллигенция в подавляющем большинстве оставалась верной принципам свободного научного исследования и идеям, — каковы бы ни были их источники, — которые казались ей наиболее способными вести к прогрессу человеческое знание. Мы не боялись цитировать произведения советских ученых. Ссылки на И. П. Павлова часты в этой маленькой книге «От действия к мысли».

Множество раз павловские концепции противопоставляются здесь другим, авторы которых незнакомы с истинной природой диалектических связей, управляющих существованием и становлением вещей. И это понятно: у наших современников еще часта тенденция подменять контрасты и конфликты действительности своего рода механистической гомогенностью, которая все новое сводит

лишь к простому повторению и делает непонятными созидающие силы материи.

Возьмем пример понятия, теперь ставшего обычным во всех областях знания, — понятие эволюции, которое включает два условия, кажущиеся противоречивыми: изменение и тождество. Как говорить об эволюции живых существ, если это не то же самое живое существо, тот же вид, которые продолжают существовать? Но как определить или ограничить то, что остается и изменяется? Столь очевидная и необходимая, как нам кажется на первый взгляд, координация этих двух условий, проверка теорий, которые стремятся дать в них отчет, показывает, как часто одно из них полностью сводится к другому и притом нередко с помощью простого словесного приема. Изменение объяснялось некоей способностью к изменению или предрасположением к нему, внутренне присущим самому живому существу или виду. Этот род тавтологии еще не преодолен психологами полностью, что мешает им распознавать силы в конфликте: например, потребности и препятствия, которые они встречают. Именно препятствие нарушает равновесие их связи со средой и делает необходимым новое приспособление. Оно может быть случайным изменением среды. Оно может быть также результатом самих потребностей, возрастание которых ведет к новым требованиям. В какой-то мере эволюция становится тогда эндогенной.

Благодаря подобному смешению существующих терминов связи органического и психического, физиологического и мыслительного сводятся к простой взаимной ассимиляции. Так, представители интроспективной психологии, расчленяя сознание на образы, рассматривали каждый из них как эквивалент нервного элемента и делали вывод относительно их сочетаний одновременно или не индифферентно к особенностям, относящимся к одной и другой серии. Точно так же Пиаже *, тоже используя аналогии, целиком отождествлял сочетание «моторных схем» с логическими операциями, даже без точного указания, какая серия служит прототипом другой. Но есть ли это серия идеологическая, оперирующая конечными выводами, или серия моторная, оперирующая механистическим повторением, или даже та и другая, — влияющие одно-

* Известный современный психолог. — *Ред.*

временно? Рассматриваемый образ эволюции является эволюцией, происходящей благодаря простому перемещению, эволюцией замкнутой и фиксированной.

Совсем другие выводы вытекают из исследований Павлова, который, тем не менее, также исходит из физиологического плана. Но указываемый им переход от первой сигнальной системы ко второй не является простым переизданием в вербальном плане эффектов, полученных в плане перцептивном; это — случай нового типа ассоциаций: язык, целиком подчиняясь законам условных рефлексов, позволяет образовывать связи между простыми представлениями и с их помощью создавать структуры, которые могут быть сравниваемы со структурами действительности, что составляет сущность сознания.

Направление, в котором здесь происходит эволюция, совершенно очевидно. Эволюция не является замкнутым циклом. В каждый момент она предполагает контакты со средой. На первой стадии дело касается перцептивной среды, на которую вторая стадия накладывает среду социальную. Разрешение противоречий, которые могут возникнуть между индивидуумом или видом и средой, состоит в адаптации. Она зависит от одного и другого, каковы бы ни были природа и уровень используемых ею средств: подчинение среде или ее изменение. К несчастью, бывает и так, что психологи изолируют один из двух элементов и слишком часто очень недостаточно учитывают среду. Кажется, что они верят в абсолютные способности, в предопределенную эволюцию, которую они представляют согласно единым схемам.

Эти схемы, следуя которым такие психологи ведут свои опыты, способствуют тому, чтобы скрыть от них не только истинные отношения субъекта к внешней действительности, но и сам субъект или подменить его частными связями, которые фактически приведут к его исчезновению за экспериментальным аппаратом. Опыты обучения, разумеется, дали интересные результаты, как, например, результаты, полученные «методом проб и ошибок». Но при их интерпретации следует учитывать, кроме того, интерес, который может здесь иметь животное, а также другие разнообразные обстоятельства. Неуспех, в конечном итоге, ограничивает ошибки. Наоборот, успех ведет к установлению правильного действия. Это — сформулированный Торндайком «закон эффекта», являющийся

действительным, но единственным: т. е. простое согласование жеста со своими собственными последствиями, жеста, к тому же внушенного экспериментальным устройством. Ибо мотивации, которые могут добавляться сюда для того, чтобы побудить животное к действию (как освободиться из лабиринта или достигнуть добычу, от которой отделяют его обходные пути), являются не чем иным, как очень косвенным влиянием на выбор путей.

Насколько же более близкими к действительности являются опыты на условных рефлексах, несмотря на их точные ограничения! Насколько более непосредственны их связи с естественными реакциями, хотя функциональный анализ доведен здесь до редко достигаемой степени точности. Вместо того чтобы сразу сливать или смешивать одну с другой различные категории условий или эффектов, Павлов умело расчленяет их, для того чтобы выявить законы их сочетаний. Его открытие условных рефлексов есть не только открытие корковой деятельности в ее связях с подкорковыми центрами, открытие высшей нервной деятельности, принимающей участие в физиологических реакциях и в то же время тонизируемой и импульсируемой ими; это также образование связи внешнего мира, представленного перцепциями, с основными инстинктами живого существа, которые представляют собой безусловные рефлексы; через инстинкты в опыт включается и сам субъект. И не только неопределенный и анонимный субъект, но каждый субъект со своим индивидуальным темпераментом. Доказательством этому является то, что вся типология исходит из результатов, полученных при изучении условных рефлексов.

В самом деле, выявить взаимные реакции имеющихся налицо условий, то есть в первую очередь различить и противопоставить их, — это значит ввести научное экспериментирование в конкретную действительность. Существование вещей, их развитие не зависят от сходств или аналогий. Объяснению вещей, конечно, не поможет смешение между собой их факторов, замазывание их сторон. Часто, наоборот, конец какого-либо процесса кажется отрицанием начала. Можно наблюдать, например, что мир представлений имеет своим началом позы тела, что связывает их с мускульной активностью. Но последняя упраздняется в их внешних проявлениях, по крайней мере, когда чистое представление овладевает

сознанием. Другим источником представлений может служить подражание, которое выражается позами тела. Но оно имеет различные уровни. Подражание начинается как простое повторение жестов, воспринятых у других, затем оно постепенно может быть отложено, отсрочено, может стать потенциальным действием, и тогда оно становится сознательным и произвольным воспроизведением модели, то есть представлением. Но первоочередность элементов в этом случае становится обратной. Моторный аппарат, внушивший образ сознанию, становится простым исполнителем сознания, и потребность эффективного подражания может быть отменена образом, ставшим теперь свободным и независимым.

Подобные замечания можно было бы сделать и относительно языка и его последовательного употребления в процессе психического развития. В конце концов он начинает замещать собой всю доступную познанию действительность и становится опорой всякого представления. Но начинал он свое существование как зов потребности, которая знала лишь саму себя, как призыв к другим существа, самого по себе лишенного всех материальных и интеллектуальных средств. Если язык и стал совокупностью знаков, отвечающих всем возможным значениям, включая и наиболее абстрактные или наиболее воображаемые, тем не менее он является все же наследником тех значений, которые органически связаны с ситуацией или отдельными вещами.

Примеры этих изменений в области психологии можно было бы умножить. В психологии они тем более очевидны, так как действительность здесь более подвижна, развитие более быстрое и, следовательно, легче обнаруживаемое. Таковы, как мне кажется, могут быть выводы из моей книги, переводом которой на русский язык я очень польщен.

Анри Валлон.

Париж, июнь 1956 года.

ВВЕДЕНИЕ

Каково взаимоотношение между действием и мыслью? Что из них первично? Мистики, последователи Платона, утверждали: «Вначале было слово» (или проявление мысли). «Вначале было дело», — говорил Гёте. В этом заключается спор, который еще и сейчас разделяет философов и даже ученых. Этот спор являет собой первый пример противоречий, антиномий, антагонизмов, возникающих между бытием и познанием, между концепциями познания, так же как между силами бытия в процессе эволюции.

В узкой сфере психического развития эти конфликты очевидны. Здесь данные конфликты еще с большей очевидностью можно считать не отрицанием, а, наоборот, основой процессов, ведущих к более полному развитию бытия или познания, чем в других областях, где реальность и теории настолько медленно или равномерно преобразуются, растут, обновляются, что они легко производят впечатление стабильности или простого повторения.

Но даже в этой движущейся реальности, каковой является психическая жизнь, пределы, в которых противопоставляются друг другу конфликты, нельзя ясно охватить во всей их полноте и общности, иначе как при исследовании различных областей, где проявляются действия данной психической жизни, где они ищут свой путь, то есть не только в поведении человеческой личности, но и в реакциях животного, которые рассматриваются еще как совершенно инстинктивные и естественные, но и через разнообразие социальных влияний. Именно эта проблема взаимоотношений между действием и мыслью должна привести преимущественно к первоначальным состояниям,

к детству индивидуумов, видов, обществ, так как это этапы, где имеется еще достаточно быстрый рост и очевидные различия. Ибо речь идет о том, чтобы наблюдать действующие факторы, их последовательность и их взаимодействие до того, как будет получен и закреплен результат.

Впрочем, сравнивать — это не значит обязательно отождествлять. Часто различия лучше поддаются анализу, чем подобия. Сами подобия не обязательно предполагают совпадающие процессы. При аналогичных эффектах, формах действия и мысли, представляющих один и тот же аспект, могут быть различные причины и условия. Подобное совпадение имеет чрезвычайно большое значение, ибо оно либо выявляет разнообразие возможных механизмов для достижения одинакового результата, либо указывает на необходимость того же самого результата как определенного аспекта или структуры поведения как соответствующей системы адаптации, или как этапа эволюции.

* * *

К каким бы уловкам ни прибегали теоретики познания, чтобы замаскировать противоречия, на которых строится познание и которые преодолеваются на каждом из его этапов, как будто видя в них ограничение его возможностей, однако только мнимое устранение противоречий и их неизбежные проявления — вот что может сделать более сомнительной связь познания с предметом и в конечном счете дискредитировать его. Не согласившись признать, что познание с самого начала и по своему существу должно сталкиваться с противоречиями и преодолевать их, эти теоретики поддерживают расхождения, с одной стороны, между истиной, то есть тем, что диктуется познанию его собственной структурой, и реальностью, то есть тем, что отвечает структуре вещей, и, с другой стороны, между интеллектом, являющимся аппаратом познания и разумом, соответствующим всей судьбе человека.

Первое положение означает, что отдается предпочтение истине над вещами, иными словами, рассмотрению всей реальности как идентичной или соответствующей духу, а вещей как грубый, приблизительный или иллюзорный способ понимания реальности. Это положение Платона или Мальбранша, для которых чистые идеи, или

интеллигибельное соответствует самой сущности вещей, тогда как предметы, познаваемые через органы чувств, являются только искаженным фантомом реального, в котором сочетается столько же от нашей аффективной и сенсорной чувственности, сколько от самого предмета. Другие вместе с Декартом или Спинозой предполагают своего рода параллелизм или субстанциональную идентичность интеллигибельного с доступной органам чувств реальностью, так называемой материальной реальностью, и, таким образом, обеспечивают себе право рассматривать в предмете только интеллигибельное в его необходимой, незыблемой, вечной форме. Впрочем, они вынуждены допустить, что интеллигибельное и материальное не могут полностью утверждаться самими собой, а должны быть превзойдены существом, которое выходит за рамки возможностей познания, или, по крайней мере, интеллектуального познания.

Кант признает существование противоречий и даже пытается выразить их в своих антиномиях разума, но для того, чтобы устранить их из области, являющейся строго областью познания, и изолировать его сразу от чувственного и интеллектуального опыта, законы которого, как он хочет, были бы *априорными*, то есть обязательными и неизменными. В этом и заключается условие, которое он считает необходимым для обоснования достоверности познания. Но противоречия остаются, и Кант должен заключить, что познание не может распространяться на сущность вещей. Познанию недоступна вещь в себе. И даже то познание, которое человек может получить о себе, не мешает ему игнорировать свою собственную реальную сущность. Тогда появляются философские учения, которые, чтобы постигнуть сущность, дискредитируют познание и хотят видеть в нем только грубое приближение, всего-навсего удобные приемы, но бесплодное направление души. В зависимости от своих авторов философские учения ссылаются на бытие или небытие, на жизненный порыв или тревогу, чтобы положиться в конце концов на проявления инстинкта.

Этот краткий ракурс должен быть достаточным, чтобы показать затруднение всех этих мыслителей и ту загадку, которая их волновала. Их постоянной заботой было не признавать, что познание является по существу усилием, направленным на разрешение противоречий. Или же они

полагали, что невозможно основать и обосновать науку иначе, как уравновешивая прочные и определенные принципы, или же они ее недооценивали и считали необходимым искать эти принципы в другом месте. Противоречия, наблюдающиеся в первом интеллектуальном лепете ребенка, являются более или менее изображением тех этапов, которые должен был пройти человеческий интеллект, следуя за своим предметом. Теперь эти противоречия разрешены, и создается иллюзия, что они никогда не существовали. Те, кто еще упорствует в признании этих противоречий, производят впечатление, что они идут против вечных законов разума, логики, опыта, что они ощущают неполноту, допускают временное или неискорененное извращение, тогда как, наоборот, они представляют разум в работе, логику в развитии, опыт на пути к осуществлению.

Свести познание к усилию, преодолевающему противоречия, — это значит не противопоставить его реальному как нечто искусственное, которое должно в сущности остаться для него чуждым, а, наоборот, слить его самым тесным образом с реальным, заставить участвовать в его законах. Ибо ничто не может существовать, иначе как реагируя на испытываемые действия, побеждая в конфликте, осуществляя новое равновесие, новое состояние, новую форму бытия. Конечно, мифом является конфликт, якобы существующий между силами жизни и смерти в живом существе. Приписывание этим силам субстанциональной реальности привело бы только к чисто словесным объяснениям. Но за этими так называемыми силами существуют между средой и живым существом серии действий и реакций, результатом чего могут быть жизнь или смерть, смотря по тому, как организация и структуры, свойственные живому существу, могут сохраняться и развиваться за счет среды, или же, наоборот, распадаться и разрушаться. Антагонизм между средой и живым существом постоянен. Живое существо живет за счет среды, но рискует, преобразовывая ее по мере продолжающегося обновления, сделать ее непригодной для собственного существования. Между живыми видами также обнаруживаются подобные противоречия, вытекающие из подобных взаимозависимостей. И несомненно, противоречия уже предшествовали проявлению жизни во вселенной.

Таким образом, познание продолжает в том плане, какой ему присущ, ту необходимость, от которой зависит существование и эволюция всего того, что должно стать для того, чтобы существовать.

* * *

Но антиномии существуют не только между мыслью, взятой в полном своем объеме, и вещами. Они обнаруживаются и в различных определениях интеллекта. Одно определение основывается на анализе уже развившихся психических способностей при использовании самонаблюдения, как это делали в свое время, или точно определенных опытов: тестов. При помощи этого последнего метода интеллект в основном должен сводиться, по Спирману, к способности сравнивать и различать. Истина, говорил Ренан, создается из оттенков. Интеллект, следовательно, является способностью познавать истину. Другое определение имеет целью реальное. По этому определению на первый план выдвигается практическая необходимость применяться, приспосабливаться к реальному, использовать реальное и для этой цели познавать его. Интеллект, орудие познания, исходит от действия и возвращается к нему.

Таким образом, противоречие, которое метафизик поместил между бытием и интеллектом, для психологов становится внутренним противоречием интеллекта. Нужно ли его определять по отношению к истине или действительности? Несомненно, что познание постулирует их соответствие. Но различны отправные точки зрения, из каждой могут вытекать разные следствия, например в педагогическом плане. Рассмотрение с точки зрения истины требует развития главным образом критических способностей ума, как это и делают некоторые деятели классического образования. Рассмотрение реальности требует, чтобы развивалось главным образом чувство действия при соприкосновении с конкретным.

Определение с точки зрения приспособления к реальности рассматривает интеллект как продолжение биологических необходимостей, управляющих деятельностью живого существа путем постепенного приспособления или отбора. Чисто рефлекторные или сенсорно-моторные способы адаптации могут стать интеллектуальными. Но достаточно ли указать на разницу между 2 стадиями, если,

как это делали Клапаред или Штерн, видеть в интеллекте только адаптацию к новым ситуациям? Нет ли всегда чего-то нового в том, что побуждает адаптацию? Разве главное заключается не в том, чтобы каждый раз распознавать механизм, то есть знать, в чем отличие интеллекта, когда он принимает участие в процессе? И проблема снова встает во всей своей полноте. Клапаред обратил на это внимание и попытался свести интеллектуальный акт к его основным факторам, или моментам: гипотезе, выдумке, контролю. Подобный анализ дал и Бине.

Спирман сразу же ухватился за это разложение интеллектуальных операций на их основные элементы. При данном разложении Спирман отличал то, что он называет *индукцией опыта,* или непосредственным восприятием, от того, что дает опыт, *эдукцию отношений* и *эдукцию соотношений.* Однако в противоположность традиционной логике, противопоставляющей индукцию, то есть переход от частных фактов к общим принципам, дедукции, которая исходит из принципов и приходит к частным выводам, Спирман под эдукцией понимает переход; то, что означает эдукцию, является нейтральной или амбивалентной ориентацией, движением мысли в некотором направлении. *Отношениями* он называет элементарные отношения, которые познание получает при помощи простого восприятия: отношения места, одновременности, последовательности. *Соотношения* — это сверхотношения или скорее отношения между отношениями, например отношения между отношениями времени и места, которые могут привести к выражению отношения причинности. В данном случае речь идет об отношениях между сериями причинностей сначала воспринимаемых независимо одна от другой, о которых мы узнаем, что они систематически совпадают в своем сосуществовании или в некоторых из своих вариаций. По этому определению интеллект, следовательно, исходит не из прямого оперативного контакта с действительностью, а из ее перцептивного образа. Он заключается в наслоении отношений, обязательно выражающихся идеологически. Таким образом, между интеллектом и простой элементарной реакцией на необходимости момента существует видовое отличие.

Но противоречия в концепции интеллекта могут представляться и в другом виде. Стремясь к доведению интел-

лектуальных актов до их крайнего состояния, Спирман вынужден был признать, что интеллектуальные акты соответствуют способностям или возможностям, относительное развитие которых варьируется у индивидуумов, как это показывают тесты. Тем не менее он пытался при помощи математических методов выяснить, нет ли среди них постоянного элемента, общей основы, и таким образом обнаружил существование фактора g (общий). В каждом индивидууме уровень этого фактора определяется уровнем его интеллектуальной способности. Для различных интеллектуальных операций он должен сочетаться с разными специфическими факторами. В зависимости от рода испытаний, которым подвергается интеллект, роль специфических факторов более или менее значительна. Они соответствуют специальным навыкам данного интеллектуального акта. Чтобы найти интеллектуальные испытания настолько очищенные от данных специфических дифференциаций, насколько это возможно, Спирман искал такие, которые были бы лишены всяких навыков, включая и навык речи. Его выбор пал на сравнение серий, где достаточно ответить словами «хорошо» или «плохо» в зависимости от того, находятся ли выражения 2 серии или не находятся в надлежащей связи с выражениями 1 серии. Таким образом, интеллект имел бы тенденцию лучше определиться, постепенно устраняясь от всего, что является частным определением, конкретной возможностью, применением к многочисленным различиям реальности.

Этому высшему сублимированию интеллектуального принципа продолжают противопоставлять концепции, где интеллект не отличают от тех случаев, в которых он проявляется. Практически, интеллект следует познавать через его проявления, т. е. через множество специфически различных действий, результаты которых с необходимостью были бы тесно связаны с обстоятельствами и средой. В основном эта концепция была сформулирована Торндайком, превратившим интеллект в простую сумму, «пучок» способностей в большей или меньшей степени независимых друг от друга. Однако само их разнообразие предполагает различие структур, то есть организацию, которая, даже будучи разделенной, в самом своем начале непременно содержит в потенции ассоциации и единство.

* * *

Попытаться расчленить ум на его основные факторы, исходя из результатов, полученных посредством тестов, — значит применить слишком узкий в своей основе статический метод раскрытия происхождения, развертывания, форм и разных состояний интеллекта. Превращение интеллекта в новую способность адаптации, приобретенную видом, не избавляет нас от необходимости исследовать его начала и различные стадии, имея в виду то, что каждая из этих стадий предполагает новые обстоятельства, как индивидуальные, так и внеиндивидуальные. Нужно расширить область исследования. Если интеллект адаптации не идентично развивается из вида в вид, то очевидно, что он подвержен в каждом виде некоторым изменениям, регулирующим и ограничивающим ее рост. Рассмотрение изменения и постепенного развития или фаз, которые соответствуют видам, должно показать, через какие дифференциации или последовательные стадии обработки проходит способность адаптации, в каком плане она построена, как одни ее функции возникают из других, следуют друг за другом или соединяются между собой. С другой стороны, можно ли отделить интеллект адаптации от ситуаций, которые в состоянии ее развивать и дают возможность провести плодотворные сравнения либо между стадиями, проходимыми одним и тем же индивидуумом, либо между индивидуумами, либо между видами? Наконец, наступает момент в развитии способности адаптации, когда она использует материал и навыки, заставляющие ее выходить из плана простых материальных и моторных возможностей, которыми располагает живое существо в своих отношениях с наличными данными среды. Здесь это совершенно новая среда, среда мысли, которая создается способностью адаптации и требуется для нее. Эти три источника сравнения могли бы контролировать друг друга.

Действительно, развитие психической жизни ребенка послужило поводом для многочисленных работ. Изменение реакций и поведения ребенка в зависимости от его возраста отмечались изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Ибо, чем ближе к рождению, тем они более мимолетны. Сравнение наблюдений над несколькими субъектами показывает, что последовательность этих

изменений имеет что-то систематическое. Следовательно, они выражают некоторые законы развития. Но, констатируя факты, можно истолковывать их по-разному. Зачастую склонны считать, что между этими изменениями есть постоянная филиация, что либо они представляют каждое как влекущее следующее, либо они чаще сводятся к общим элементам, сочетания которых постепенно усложняются и нагромождаются одно на другое. Но, таким образом, можно не понять действие факторов, которые появляются каждый в свое время, без всяких предварительных проявлений. Еще более серьезным риском было бы приписывать простым элементам, якобы поддающимся отождествлению с самого начала психической жизни, способность создавать, помогая опыту, все то, что потом проявляется в психической жизни как ее разнообразная деятельность. Так как слишком часто создается эта иллюзия, когда делается данный вывод, то ею неожиданно вносится в вывод именно то, что еще следует доказать. В некоторой степени автономному росту интеллектуальных функций, следовательно, придется противопоставить их копии или необходимое дополнение. Данные функции нужно сравнить с тем, что послужило поводом к их отчетливому проявлению, и проверить в определенных обстоятельствах, при которых могло бы раскрыться разнообразие их действий.

Этот метод, примененный вначале к менее сложным случаям, прежде всего к животным, показал, что решение практических проблем (когда интеллект обязательно действует как способность к сочетанию и изобретению) было найдено без того аппарата понятий и различных терминов, составляющих суждения, в которых человек взрослый привык видеть выражение по преимуществу интеллекта. Идеи, познание, обыкновенно кажущиеся в одно и то же время и результатом и условием интеллектуальной деятельности, являются только одной из ее возможностей. Найдя в человеческом роде средства, позволяющие бесконечно им развиваться, идеи и знания обозначают разветвление. Но они не являются самыми первичными интеллектуальными проявлениями. У животного — особенно у видов, наиболее близких к человеку, у высших антропоидов — наблюдаются акты, содержащие в себе переменную интуицию, приспосабливающуюся к обстоятельствам, по отношению к которой было бы трудно оспаривать назва-

ние «интеллектуальное». Эти акты, встречаясь также и у ребенка и вообще у людей любого возраста, содержат в себе нечто непосредственное, что не превращает их в познание и формулы рассудка. Данные акты зависят от так называемого практического интеллекта, который, чтобы точнее подчеркнуть его сущность, можно также назвать ситуативным интеллектом, однако при том условии, если не понимать ситуации как чисто психические, а свести их к тому, чем они являются с самого начала — стечением актуальных и материальных обстоятельств, которые диктуются извне.

То, что противопоставляет этот ситуативный интеллект познанию, представляет собой не различие между предметами и обстоятельствами, а процесс реализации своего рода динамической организации, которая с желаниями, отвращениями, аффективными влечениями субъекта и вытекающим отсюда его поведением и движениями сочетает поле внешних перцепций, непрестанно изменяя само данное поле, возможности действия и стремления к желанию. Эти различные факторы, которые нам необходимо различать для их выражения и анализа, действуют в каждый данный момент как одно и то же неразрывное целое, имеют совершенно единую *структуру*, хотя и изменяющуюся в зависимости от восприятий и развития акта.

Практический интеллект состоит из свойств данной структуры, из различий, гибкости, объема ее строения. Действенность практического интеллекта зависит от его способности выбрать из впечатлений момента все те впечатления, которые, давая адекватные цели и средства, могут лучше всего способствовать успеху действия. То, что мы называем «средствами», сочетается в структуре, связывающей предмет с желанием субъекта и реализующий его. Чтобы восполнить неспособность простых автоматизмов, интеллект вступает в действие тогда, когда спонтанные и чистые движения животного не могут помочь ему достигнуть своей цели. Интеллект измеряется сложностью орудий или уловок, которые он способен использовать. Он является некоторой констеллятивной способностью, действующей путем взаимного притяжения реальности и соответствующих импульсов. Эта *объективная реальность*, которую познание стремится нам противопоставить как реальность, независимую от нас, которую заставляют признать извне через посред-

ство восприятия, является только всегда видоизменяемым полем восприятия, куда возбуждения, идущие от вещей, вступают лишь для организации в системы, соответствующие всей деятельности данного момента.

Возьмем это динамическое целое, где субъективные и объективные факторы образуют неразрывное единство и не перестают взаимно видоизменяться до тех пор, пока не достигнуто решение, целое, удовлетворяющее желание; возьмем эту более или менее обширную способность находить эффективный метод, раскрывая поле восприятия и поле действия изменяющимся совокупностям обстоятельств и способов, часто без непосредственной связи с желаемым предметом, но которые движения животного могут включать в самую погоню. Это главным образом ассимилирующий интеллект. Может ли из него возникнуть та его другая форма, которая в действии выражается через правила, в восприятии — через перечисления, замечания, ассоциации, которая постоянно имеет отношение к слову, для которой язык, выражаемый или внутренний, есть необходимый субстрат, которая различает отношения, при которой соответствующее понятие стабилизировано, различия эффектов зависят от разнообразия комбинаций между элементами, которые должны остаться постоянными, каждый вид отношений стремится к четкой формуле? Это интеллект, оперирующий представлениями или посредством представлений и отождествляющий действия с его составными элементами, а между этими двумя случаями — эффекты с уловимыми качествами определенных предметов. Многие авторы, повидимому, предполагают, что существует неразличимая непрерывность между этими двумя случаями. Один интеллект продолжается в другом интеллекте вследствие простого развития своих операций. Это действительно слишком упрощенный образ их взаимоотношений; и если они имеют что-либо общее, то это можно будет доказать, только углубляясь в изучение каждого из них. Но они отличаются еще и по другому признаку. Какими бы ни были впоследствии интерференции их деятельности, они противопоставляются и непрестанно будут противопоставляться друг другу, ибо системы, объединяющие практический интеллект с актуальными ситуациями, не имеют другого объекта, кроме самих себя; эти системы исчерпываются собственными эффектами и, как бы ни был широк круг

обстоятельств, которые ситуации организуют, они от этого не становятся менее замкнутыми в самих себе и изолированными. Другой интеллект, наоборот, основывается на отношениях, которые, прежде чем поддерживать четко разграниченные представления, служили орудиями общения между индивидуумами. Данный интеллект предполагает материал, который каждый не может создать для своего употребления, по мере того как ему это позволяет или требует его интеллектуальное развитие. На внутреннюю или реализованную речь, составляющую одно целое с дискурсивной мыслью, а также на отношения и представления, которые она поддерживает, неизбежно накладывается отпечаток общества. Несомненно, речь идет только о том, чтобы индивидуум был способен усвоить навык речи. Но либо именно данная способность будет только отпечатком самого языка на ребенке, сформированном средой, либо, как это доказывают разнообразные наблюдения, она присуща специфическому развитию человека, его природе и может в виде исключения отсутствовать или исчезнуть у некоторых индивидуумов. Итак, эта способность обладает еще своими особыми условиями и не может быть следствием практического интеллекта, даже оплодотворенного тем видом опытов, которые ему доступны.

Приобщением ребенка к дискурсивному интеллекту, к коллективному мышлению посредством языка и общих понятий, накопленных им, новые проблемы присоединяются к старым. Больше нельзя рассматривать интеллектуальное развитие ребенка как чисто индивидуальное. Но какие же точки соприкосновения имеет его интеллектуальное развитие с наследуемой им традицией? Повторит ли ребенок традицию с самого начала и должен ли он вкратце повторить все ее фазы, прежде чем сумеет усвоить ее действительный смысл? Различные аналогии заставляют думать, что этапы его «мышления» должны повторить существенные этапы «первобытного мышления». Данное сближение сохраняет свой интерес, несмотря на всю невероятность гипотезы. Оно проливает свет на различие условий, регулирующих формирование мысли. Затруднения, которые должна преодолеть мысль, лучше всего выявляются, таким образом, в сходстве между усилиями, требующимися от индивидуального интеллекта тогда, когда он овладевает своими средствами,

и от коллективного интеллекта тогда, когда он усваивает свои понятия. Подобные положения, в которых ребенок и первобытный человек могут временно испытывать затруднения, несомненно, свидетельствуют о временной неспособности первого использовать мыслительные навыки своей эпохи и отставание этих навыков в интеллектуальном окружении второго. Биопсихическая эволюция, с одной стороны, и историческая, с другой — могут при случае соответствовать друг другу, не будучи идентичными. Их совпадение, однако, необходимо для прогресса мысли.

* * *

Три системы отношений, между которыми может, таким образом, распределяться изучение интеллектуального развития, дают возможность вернее избежать слишком торопливых решений, при которых смазывается затруднение. Они выявляют различия и противоречия, которые следует преодолеть. Между этими отношениями выступают линии развития, которые и должны привести к результату. Таким образом, проблемы, по крайней мере, ставятся в различных измерениях.

Эти проблемы касаются, с одной стороны, материального моторного акта, его естественных и приобретенных структур, уровней использования, то реактивных, то объективных, то субъективных, то пластических; с другой стороны, элементарных специфических требований мысли, ее первоначальной канвы, затруднений, которым она дает начало. Ибо мысль обозначает начало в психической жизни и в жизни вида, которое хорошо измеряется и план которого было бы желательно раскрыть.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИСТОЧНИКИ СРАВНЕНИЯ

Глава I

ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

С самого своего возникновения психологии пришлось столкнуться с основными противоречиями. Так как это было естественно и необходимо, то она сначала создалась в противоположность умозрительному представлению о вещах. В отличие от предметов, полученных через внешний опыт, задача психологии заключалась в том, чтобы определить субъект. Она искала его в опыте, который мог бы исходить из самого себя, или во внутреннем опыте. Следовательно, из опыта она выделила сознание и сделала его предметом своего изучения. Таким образом. отправной точкой изучения субъекта стало сознание. Субъект состоит из другого материала, чем предметы; считалось, что свои составные элементы он получает из сознания. А сознание по своей сущности является познанием, познание же разделяется на образы. То сенсорные и внешнего происхождения, то умственные, развивающиеся в плане идей, образы служат одновременно общим моментом для всех проявлений сознания и посредником между восприятием и мыслью. Итак, именно образы дают возможность восстановить психическую жизнь сообразно всем потребностям.

Расчленение сознания и восстановление субъекта в образах, то есть в элементах, из которых каждый способен вступить в различные сочетания, могло создать иллюзию, что психология, имея исходной точкой внутреннее переживание, также становится объективной, поскольку она позволяет разложить и вновь воссоздать психологическую жизнь любого индивидуума. Но можно ли восстановить субъект именно по образу, абстрагированному в качестве сложного элемента любого сознания и присущего всем сознаниям? Может ли образ в новом сочетании с другими

образами восстановить то, что он утратил в ходе операции, а именно, эту единственную и подлинную функцию представлять личность, которая противопоставляет свою тождественность всем возможным содержаниям сознания. Ощущая это противоречие, некоторые авторы, подобно Мэн де Бирану, искали фактор, который вернул бы субъекту его примат, его постоянство, его единство. Впечатление, которое может выразить этот фактор, например впечатление усилия, становится своего рода привилегированным состоянием, проявлением высшего принципа по отношению ко всем совокупностям состояний сознания, не подчиненным одним и тем же условиям. Но данный принцип тем самым ускользает из области научного познания, потому что его существование не сводится к системам отношения. Сознание, разделенное на образы, также теряет всю свою подвижность. Оно превращается в инертные частицы. Представители ассоциационизма полагают, что, группируя и связывая образы по сходству и смежности, они устраняют это дробление и неподвижность. Но связывание сходного является противоположностью образования нового, а установление по смежности — только пассивная фиксация, из которой не возникает направлений, что требуют начала мысли. В действительности только некоторые из проявлений сознания — наиболее примитивные — выглядят почти чистыми ассоциациями. Они представляют собой бесплодное наслоение разрозненных групп, каждая из которых имеет свое значение. В ответ на это омертвление мысли представителями ассоциационизма Бергсон в свою очередь поставил своей задачей восстановить ее непосредственность; он считал, что все существа одарены «жизненным порывом». Его образец Бергсон стремится найти в интуиции, которую сознание может черпать из своего становления, своего постоянного возобновления, творческой силы. Но это развитие существа и сознания как такового и для себя в данном случае освобождает их изучение от научного анализа.

Какими бы странными и своеобразными ни были проявления жизненного порыва в каждом отдельном существовании, может ли он обнаружить что-либо иное, кроме своей природы или сущности? Даже если принять становление за единственно возможное выражение того, что существует, кажется, трудно не усмотреть в становлении тенденцию, нечто вроде единства, и в этом един-

стве как бы скрытый принцип. Бергсоновское время, представляющее собой качественно развивающуюся сущность, является тенденцией, приближающейся к абсолюту. Время явно не поддается ограничениям частных тенденций и не будет определяться, как они, конечной целью, мотивом, которые могли бы найти свое выражение в представлении или образе. Однако это не изменяет того, что при подробном изучении психической жизни анализ сознания всегда приводит к образу. Идя по этому пути, психолог в конечном счете должен прийти именно к образу. Попытка психолога присоединить к образу аффективные силы все-таки не может избавить его от того, чтобы вновь найти образ за тенденцией или в чувстве. Для того, кто исходит из сознания, образ — необходимый прототип, который можно только либо рассеять, либо рассматривать как границу и конечную точку текущего процесса. Образ настолько всеобъемлющ, что, кажется, можно им объяснить все, вплоть до движения, механизм которого был сведен к действию двигательных образов.

В самом деле, при этой объяснительной системе проблема в том, чтобы учесть действия, которые должны происходить между материальной реальностью и психическими элементами, производными от сознания. Полагая, что порядок мысли и порядок протяженности подчинены одинаковым законам, представители картезианского параллелизма устранили эти действия, так что ученому достаточно было оперировать в том или ином плане в зависимости от случаев. Но метафизическое обоснование этого соответствия было только убеждением, и поэтому появились две точки зрения. Точка зрения физического механизма попыталась в лице Ламеттри вторгнуться в истолкование умственной жизни. Точка же зрения идеализма в лице Мальбранша попыталась свести материальный мир только к миру видимостей и чисто случайных причин. Позже одни высказывались за суверенное действие идеи, которая повлекла бы за собой акт, своего рода фиат, вызвав подчиненные автоматизмы, такова мысль — сила Фуйэ; другие, в лице Тэна и Рибо, — за сознание как простое отражение или эпифеномен органической жизни. Принесение в жертву одного другому было неизбежным следствием психологии, искавшей свои элементы в анализе сознания, тогда как органический субстрат психической жизни присущ физическому миру,

познание которого достигается через внешние реальности и при помощи соответствующих методов.

С тем большим основанием мысль в сущности могла быть только тем «полиняком образов», о котором говорит Тэн. Когда позже оказалось, что данная интерпретация противоречит более точному анализу интеллектуальных операций, Бине, Марбе и его ученики вюрцбургской школы обратились опять к интроспекции, то есть к рассмотрению сознания через его самое, чтобы убедиться, что существует «мысль без образов».

Но если бы даже в конце концов психолог и пришел бы к выводу, что следует оставить приоритет за существованием либо идеи, либо материи, все-таки всегда идея сохраняет свой приоритет в системе познания. Мысль разлагается на образы; в зависимости от того, рассматриваются ли они как основные образы либо интеллектуального происхождения, либо периферического и сенсорного происхождения, система является идеалистической или сенсуалистической, рационалистической или эмпирической. В обоих случаях образ — это та граница, которую познание не сможет перейти. Образ то идентичен с реальностью, то противопоставлен ей. То реальность смешивается с мыслью, которая познает ее, то она ускользает от познания, так как образы являются по своему источнику только лишь субъективными впечатлениями. В основе сведения бытия к мысли или агностицизму лежит чисто умозрительная точка зрения. То, что соприкасается с вещами и действием, включается в ощущение или мысль. Но такая позиция представителей классической психологии постепенно колеблется, рушится под напором тенденций, как свойственных самой психологии, так и более общих. Произошел переворот во взглядах на относительное значение эффективного действия и практику мышления.

* * *

В области индивидуальной психологии одной из наиболее теоретически обоснованных попыток ее обновления путем введения новых тенденций является попытка Жана Пиаже [1]. Как и многие другие до него, он изо дня в день

---

[1] J. Piaget, La naissance de l'Intelligence chez e' Enfant. Neuchâtel-Paris, Delachaux, Niecstlé. La construction du réel chez l' enfant, ibid.

наблюдал за процессом развития маленьких детей, отмечая его последовательные проявления. Но Пиаже не остается на чисто описательной точке зрения, а ищет психогенетического объяснения данных проявлений. То, что отмечается в поведении грудного ребенка, является исключительно его движениями. Совершенно очевидно, что они предшествуют первым интеллектуальным или даже интенциональным проявлениям. Движения могут постепенно раскрыть данное явление и его развитие. Тем самым изучение движений с точки зрения интроспекции можно заменить изучением с точки зрения поведения. Данная последовательность движений соответствует точке зрения эволюции.

В соответствии с данными наблюдения и для удовлетворения новых потребностей психологии Пиаже заменил ощущения движениями как основными элементами психической жизни. Он счел возможным приравнять хронологический приоритет конституциональному; он превратил то, что развивается в первую очередь, в субстанцию или причину того, что формируется потом. Итак, Пиаже, преодолев некоторые трудности, оставил другие и столкнулся с новыми. Когда имели дело с ощущениями, сознание являлось отправной точкой изучения субъекта, если не как предмет изучения, то, по крайней мере, как его содержание. Имея моторные схемы, которые фигурируют вместо ощущений, при объяснении придется как-то обосновать появление сознания. В отличие от многочисленных и несвязных ощущений, каким образом при помощи моторных схем можно бы лучше, чем при помощи ощущений, представить субъект и его единство, которое превышает все возможные проявления сознания. Правда, в противоположность ощущениям, являющимся инертными элементами, сочетания которых как бы предполагают вмешательство ассоциационизма, моторные схемы обладают автономной и наступательной активностью. Одни моторные схемы могут постепенно поглощаться другими, и таким образом они приведут к упорядоченному целому индивидуума. Но каким образом эта система просто координированных между собой движений обретет свое качество личности?

Поскольку переход элементов к целому не становится началом его существования или его новой формой существования (что происходит при сочетании, то есть синтезе),

целое не может сложиться из частей, если оно не было дано вместе с ними. Целое не могло бы содержаться в частях, если бы оно им не предшествовало, как это имеет место при органической или функциональной дифференциации. В сочетании моторных схем между собой Пиаже, наоборот, стремится показать точную непрерывность результатов и качественное подобие последовательных этапов. Но как в этом незаметном переходе мы сможем уловить момент, когда, наконец, появляется субъект из действующих в ущерб друг другу схем и движение превращается в сознание?

Чтобы преодолеть эту трудность, Пиаже прибегает к аналогиям, которые он возводит в тождества. Как свойственно организму развиваться за счет среды путем ассимиляции элементов, которые он в ней находит, так и моторные схемы постоянно находятся во взаимодействии с внешними обстоятельствами, чем объясняется их развитие и изменение, поскольку не существует ассимиляции без одновременной адаптации. Но приемлемо ли сравнение моторной схемы, простого проявления деятельности со всей совокупностью живого существа?

Тем не менее, согласно Пиаже, существует не только подобие. Между психической деятельностью и биологической совпадение точное. Это не просто общность сущности или повторение типа, это действительно единство элементов и закона. Вот почему Пиаже не считает нужным показать, как совершается переход порога от моторных схем к личности, от моторной деятельности к интеллектуальной деятельности. Между этими двумя видами деятельности существуют *общие инварианты,* деятельность которых в обоих случаях направляется *организацией* и *адаптацией.*

Проводимая Пиаже параллель является не простым приспособлением, а внутренним соответствием. В основе структур, в которых начинает дифференцироваться интеллектуальная деятельность, мы находим принципы, одинаковые с принципами жизни, обеспечивающие их глубокое единство. В биологическом плане, организация и адаптация противоположны и солидарны. Адаптация — это организация во взаимодействии со средой. Организация — это внутренний аспект адаптации, то, что представляет собой внутреннюю взаимозависимость уже адаптированных элементов. Между организацией и адаптацией существует

преемственность, поскольку организация не что иное как адаптация в прошлом, а более точно — координированная система предшествующих адаптаций. В интеллектуальном плане та же солидарность и противоположность между рациональной деятельностью, или организацией, и опытом, или адаптацией, между логическо-математической дедукцией и временно-пространственной, объективной, причинной структурой.

Картина логических функций может соответствовать картине биологических процессов. Адаптация, представляющая собой преобразование организма применительно к среде, в том случае, если из этого вытекает рост обменов в пользу организма, распадается на ассимиляцию и аккомодацию. Путем ассимиляции организм координирует данные среды, сохраняя свой цикл организации. Аккомодации соответствует изменение цикла, а не его прекращение, ибо тогда мы имели бы инадаптацию. Адаптация — это равновесие между данными двумя противоположными и едиными операциями. Три биологические функции — функции *организации, ассимиляции, аккомодации* — в плане интеллектуальном называются: *регулятивная функция, функция включения* и *функция объяснения,* и каждая из них выражается двумя психическими категориями, которые дают возможность мыслить о вещах.

Связь между биологическим и интеллектуальным настолько тесная, что одни и те же соответствия мы находим даже в системах истолкований, предлагаемых в первой и второй областях. Здесь апостериоризм и априоризм сталкиваются. Первый дает повод для возникновения биологического эмпиризма Ламарка и психологического эмпиризма Юма, т. е. ассоциационизма; второй ведет к преформизму, одна часть которого называется витализмом, а другая — интеллектуализмом. Преформизм, выраженный менее категорично и более конкретно, основывается в биологии на существовании генов, в психологии — на существовании структур; эмпиризм же — на существовании мутаций и опытов. Пиаже, выдвигая свою концепцию, в которой он примирял эти крайние точки зрения, видит в биологической и интеллектуальной ассимиляции действие преформистских структур, а в аккомодации — действие внешних обстоятельств. Таким образом завершен биопсихический параллелизм. Одни и те же операции, одни и

те же теории мы находим в обоих планах. Термины, которые обозначают их, именуются по-разному, хотя они не менее строго эквивалентны друг другу.

* * *

Изучение действующих моторных схем должно показать, в самом ли деле при помощи их совершится переход от биологического к психическому или же переход не раскрывается в конечном счете, потому что уже предполагался. Следуя своей доктрине, Пиаже видит прототип схем в понятии. Понятия — это результат суждений. Они отделяются от суждений, чтобы превратиться в системы отношений и классов, становясь тогда исходной точкой для новых суждений. Посредством своего рода автоматического поступательного движения из цепи суждений возникает понятие, а из понятия — новые суждения. Как схемы ведут начало от моторной деятельности, развертывающейся во внешнем мире, так и новая деятельность — от схем. Мы уже указывали, что такой же цикл существует между организацией, вытекающей из ассимиляции, и ассимиляцией, предполагающей организацию. Ассимиляция является активным элементом, понятие или схема — продуктом. Несомненно, что ассимиляция — одновременно и источник, и продукт организации, но с функциональной точки зрения она имеет приоритет над организацией.

Внешней среде, где действует ассимиляция, присуще стимулирующее, дифференцирующее и организующее действие. «Внешние возбуждения заставляют рефлексы координироваться». Раз нет причины, вызывающей рефлексы, они рискуют исчезнуть, но не утрачивают при этом своей спонтанности. Рефлекс не только укрепляется, если он действует, но и постепенно распространяется на все объекты, способные его вызвать. Подобное распространение может, впрочем, привести к ограничению рефлекса, поскольку оно является ассимиляцией узнавания: когда ребенок голоден, он отнюдь не все сосет. Следует ли предположить, что рефлекс обладает своего рода способностью к сознательному различению?

Это свойство к выбору между возбуждением и рефлексом следует объяснить механизмом циклической реакции. Для Болдуина, который первый указал на него, этот

механизм является механизмом, свойственным адаптации. Раз испытанный эффект имеет тенденцию вызвать снова соответствующий ему жест, если произошла его дальнейшая спецификация. Предположим рефлекс сенсорной аккомодации, вызванный внешним возбуждением; впечатление, связанное с данным рефлексом, побуждает его к повторению, но с такой точностью, которая делает само это впечатление более точным, а реакция возобновляется вплоть до исчезновения первоначальной неточности. Если простая мышечная реакция ведет, кроме того, и к прогрессу в процессе создания способностей, то причиной этого является воздействие внешнего мира, так как не наблюдалось того, чтобы циклическая реакция могла бы выйти из своих рамок, если ее не вынуждают к этому обстоятельства. Действительно, Пиаже допускает стимулирующее и координирующее влияние среды. Как бы ни была необходима среда для мотивации нашей деятельности, тем не менее встречаются случаи, когда циклические реакции приводят лишь к стереотипам, особенно у идиота. Оба ряда — моторный и сенсорный, — которые согласованы и связаны между собой всеми своими элементами, могут легко образовать замкнутый цикл, не будучи в то же время способны присоединиться к рядам другого вида. Может легко возникнуть повод к новым отношениям и не оказаться способности воспользоваться ими. Нужно что-то иное, чем слияние сенсомоторных областей между собой, происходящее под влиянием только одних обстоятельств.

Между тем Пиаже указывает лишь на один этот фактор. Вначале потребности ребенка удовлетворяются раздельно. Ребенок смотрит, чтобы смотреть, хватает, чтобы хватать, если же он пройдет эту стадию, возникает «случайная координация» между одной схемой и другой, которая потом и закрепляется. Нам остается объяснить, почему субъекты, деятельность которых ограничивается сенсомоторными стереотипами, не могут использовать ни эти случайные координации, ни повода к ним; почему получается так, что анатомическое повреждение, разрушение некоторых мозговых структур уничтожают уже установленную координацию. Не следует ли предположить, что вместе с поводом существует и способность использовать его, что вместе с координацией — тот орган, в котором она могла бы заключаться. Не в каждой отдельной схеме

находится эта способность, она также создается не только внешним миром. Данная способность свойственна поведению в целом и зависит от органических субструктур, которые в процессе развития ребенка постепенно создают у него склонность воспользоваться внешними обстоятельствами. Если в конце концов и происходит слияние сенсорных и моторных полей деятельности, соответствующих различным видам схем, то это не потому, что они, будучи вначале разделенными, комбинируются между собой. Единство сенсорных и моторных полей деятельности предполагает структурное целое, которое господствует именно над разнообразием этих полей.

Конечно, от развития ребенка может иногда создаться впечатление, что функции ребенка появляются не друг за другом. Единство функций в целом отстает от их первичных проявлений. Оно, однако, не является результатом случайных слияний, а только проявляется позже. На той ступени эволюции, которая достигнута человечеством, функциональная дифференциация действительно очень велика. Элементарная деятельность, в частности сенсомоторная, специализируется для того, чтобы вступить в системы, которые подчиняют ее высшим функциям координации. Часто простейшие рефлексы уже утратили свое значение как факты поведения и не сохранили ни автономии, ни пользы; их элементарные координации распались на циклы, в которые они вошли вместе с другими видами деятельности. Но эти рефлексы продолжают проявляться в процессе развития индивида так же преждевременно, как и в серии видов, а следующие системы координации также значительно позже вступают в свой ряд. Таким образом, элементы функции возникают раньше самой функции. За самыми элементарными эффектами наступает ее зрелость. Впрочем, чем сложнее функция, тем менее она способна действовать без обучения, так как ситуации, с которыми она может сталкивать субъекта, становятся также все более разнообразными и сливаются в конце концов с системами технических или социальных условий, которые любая цивилизация ставит перед индивидуумом. Опыт и способность все более тесно переплетаются друг с другом. Однако, не признавая роли функционального созревания и учитывая только первичные внешние реакции (они рассматриваются им как составные

элементы последующих операций), Пиаже вынужден не только считать опыт единственным фактором, но и видеть в нем только собрание благоприятных обстоятельств.

Когда Пиаже показывает, что в первые недели своей жизни грудной ребенок не пытается сосать до тех пор, пока его губы не коснулись груди или соски, что между второй и восьмой неделями он начинает искать грудь как только окажется в положении, непосредственно предшествующем кормлению (туалет, перемена пеленок, тому, когда его клали горизонтально и т. д.), что между 3 и 4 месяцами появляются зрительные сигналы: вид соски или других предметов, напоминающих о кормлении, заставляет его открыть рот и закричать, то он демонстрирует перед нами развивающиеся координации. Но следует ли объяснять данные координации только ассоциациями, сравнивая их с условными рефлексами или с тем, что Пиаже называет «специфической ассимиляцией»? Кроме того, условиями возникновения условных рефлексов не являются только внешние обстоятельства. Условные рефлексы требуют различения условных возбудителей, которое имеет много стадий и связано по И. П. Павлову с анализаторной способностью коры мозга. Если же ассимиляторная способность у Пиаже может преодолеть различия между сенсомоторными областями, то это происходит потому, что она также обладает известной структурой, уровни которой так же обусловливают опыт, как, по крайней мере, и являются его следствием.

Несомненно, должно наблюдаться и обратное воздействие целого на части. Общей координирующей системе Пиаже приписывает в конечном счете способность субъекта интересоваться различиями реального и, следовательно, дифференцировать между ними схемы. Развитие координации и дифференциации, соответствуя друг другу, вызывается возрастающей объективностью ассимиляции. Структура, в которую субъект способен оформить мир применительно к своей способности к координации, соответствует его уровню психической организации. Именно таким образом субъект достигает способности связать свою личную деятельность с предметами. Но такая координация, превратившаяся в регулятивную, становится *апостериорной.* Она следует за схемами, вначале являющимися индивидуальными. Пиаже явно отвергает гипотезу о непосредственной тенденции к координации. Каждая

ассимиляторная схема имеет тенденцию распространяться через самое себя и для самой себя на весь мир, включая и те области, которые зависят от других схем. Это распространение тормозится лишь сопротивлением среды и теми несоответствиями, которые зависят от условий деятельности самого субъекта.

Однако Пиаже признает динамогенную диффузную способность вместо непосредственной координации. Получается так, что возбуждение, вызванное созерцанием наиболее интересных картин, достигает кругов сосания. Естественно также, что в процессе первичных слуховых адаптаций грудной ребенок пытается смотреть и в то же время слушать. Возбуждение пробуждает одновременно все потребности. Ребенок стремится включать новую реальность во все находящиеся в его распоряжении схемы ассимиляции. Пиаже приводит пример, в котором человеческое лицо является поливалентным возбудителем, связанным у грудного ребенка с наиболее интересными моментами его жизни. Но это значит ввести общий фактор интереса, который больше не сводится к сенсомоторным схемам, ввести аффективную силу, способную вызвать, сочетать виды их деятельности. Итак, данный принцип до некоторой степени предшествует простому соревнованию (concurrence) схем между собой.

Концепция Пиаже остается весьма эклектичной, несмотря на то, что он старается быть четким. Считая моторные схемы основой, а виды их индивидуальной деятельности, совершающиеся под контролем опыта, единственными факторами начального психического развития, Пиаже не может затем поступить иначе, как присоединить к ним действие целого, в котором, впрочем, он видит два различных аспекта: начальный и конечный. Последний соответствует единой системе, создаваемой в конечном счете отношениями схем между собой, первый же — тому общему источнику интереса, из которого различные схемы, как бы они ни были своеобразны, получают свой импульс. В этой последней гипотезе точка зрения субъекта и целого получила бы приоритет над точкой зрения составных элементов. Но это противоречит предложенной системе объяснений. Принцип, устраненный в посылках, снова вводится в ходе объяснения. Очевидно, что нарушается равновесие между результатом, который надлежит объяснить, и привлеченными для этого средствами.

* * *

В эволюции, которая идет от моторных схем — элементов основы — к представлению как основе интеллектуальной жизни, Пиаже различает 6 этапов. Он ставит перед собой двоякую задачу: 1) указать на строгую преемственность этих этапов и, отмечая, как происходит развитие от одного этапа к другому, подчеркнуть переходы между ними; 2) показать для каждого этапа его эквивалент в плане познания. В действительности группа 3 первых этапов приходит к эквиваленту понятия только на 3 этапе, а группа 3 последующих этапов ведет к представлению только на 6 этапе. Но в обеих группах 2 первых этапа являются довольно последовательной подготовкой результата. Подобное разделение не выражает противопоставления периодов, а наоборот, оно имеет тенденцию уменьшить различия, следующие друг за другом.

3 первых этапа — это этапы, на которых схемы ограничиваются тем, что сосуществуют и постепенно ассимилируют друг друга, тем не менее не выходя за свои рамки. На первом этапе каждая схема действует в своей области, пользуясь специфическими свойственными ей возбуждениями, а также приспосабливаясь к обстоятельствам и изменяющимся предметам. На втором этапе намечается взаимная ассимиляция схем, относящихся к разным областям, например ассимиляция двигающейся руки с сосанием или с ощупыванием тела, в особенности с ощупыванием лица или, наконец, с внешним видом. Это последнее явление отмечается Прейером и Турне на 17 неделе, а согласно Пиаже оно должно произойти между 3 и 6 месяцами и является сначала односторонним. Ручные схемы ассимилируются зрительными схемами: взгляд следует за рукой, но рука не способна задержаться в поле зрения. Только позднее движение руки будет направляться взглядом, точно так же, как взгляд сопровождает движение руки. Опережая зрение, сосание сразу же вызывало движение руки, которая тянулась ко рту. Затем происходит взаимное слияние хватания и сосания: схваченные, но не рассматриваемые ребенком предметы рука тянет ко рту, а предметы, находящиеся во рту, хватаются рукой и вытаскиваются ею.

Однако наблюдаемое у всех детей это предшествование одних ассоциаций другим, конечно, нельзя приписывать просто случайным совпадениям. Тот момент, когда

рука, вступая в поле зрения, удерживает на себе взгляд, по Турне совпадает с миэлинизацией пирамидального пучка, то есть с тем моментом, когда пучок моторных волокон, исходящих из коры мозга, становится способным к действию. Не оспаривая роли подготовительного периода и обстоятельств, кажется очевидным, что в основе установления связи между сенсорным и моторным полями лежат созревшие анатомические связи. Именно на этой основе должны развиваться интересы ребенка в соответствии с каждым данным уровнем его поведения.

Только на 3 стадии становится заметным прогресс. Данная стадия — это стадия «вторичной циклической реакции». Возбужденный результатом того, чего он хочет добиться, или интересным зрелищем, ребенок может воспроизвести те жесты, которые вызвали данный результат, и таким образом продлить его. Но ему удается снова это повторить по тем же предшествующим схемам. Ребенок не способен адаптировать, однако его повторение между тем не является простым и прямым, поскольку оно продиктовано желаемым результатом. Есть отношение средств и цели. Точно соответствуя первичным реакциям, вторичные циклические реакции имеют целью только сохранять и ассимилировать, однако вместе с ними интерес ребенка перемещается, он объективируется в материальных результатах акта. Ассимиляция уже имеет тенденцию к идеальной полноте, но она еще ограничена сама собой, и ребенок не умеет в ней различать желаемый результат и употребляемые приемы. Он лишь испытывает простую потребность к повторению. Случайное действие, происходящее при отправном пункте целого, которое надлежит воспроизвести, заключает в себе все средства, присущие воспроизведению. Достаточно бывает интереса, разбуженного сотрясением игрушки, чтобы направить движение в том направлении, в каком оно шло в момент начала действия игрушки. Это замкнутое целое, которое довольствуется самим собой. Схемы взаимно не координируются. Они еще не могут образовать серии, аналогичные сериям рассуждения. Вместе с тем уже схемы представляют собой нечто аналогичное понятию и обозначают предметы, которые можно потрясти, потереть и т. п. Они уже являются первичной, грубой классификацией и дают представление о некоторых отношениях вещей между собой, хотя еще только в практическом виде.

Но смешивать понятие и вторичную циклическую реакцию — не значит ли забегать вперед? Присущи ли уже понятия о классе и отношениях схемам повторения, даже ставшим интенциональными? Если они еще строго замкнуты в себе, то как они могут уже быть первой, грубой классификацией? Если еще нет противопоставления средств цели, то где здесь можно обнаружить признак отношения? Неважно, что взрослый, заметивший у ребенка различные приемы пользования разными предметами, сам делает соответствующее распределение видов его деятельности. Речь идет о таких понятиях, какие сам ребенок подтверждает. Предполагать в предшествующих моментах результат, который будет достигнут только впоследствии, — не значит объяснить этот переход.

Но в то же время у Пиаже есть тенденция выйти за рамки моторных схем, выделить из них деятельность, которая преодолела бы их и являлась бы деятельностью субъекта. Благодаря свойственной им беспредельной экстенсивности вторичные циклические реакции выходят за свои пределы и распространяются на все большее число внешних предметов. По мере того как данные реакции распространяются на самые разнообразные ситуации, происходит разложение их элементов таким образом, что они становятся способными перегруппировываться в сочетания, различные по целям и средствам. Но вопрос заключается в том, чтобы выяснить, можно ли рассматривать субъект как простую автоматическую производную от этих изменений. Дифференциацию между первоначально смешанными отношениями можно, конечно, понимать только в сравнении с сознанием. Чтобы получить вторичную циклическую реакцию, Пиаже вынужден говорить, что случайный эффект должен быть понят как плод деятельности субъекта. Но тогда почему он не подводит под моторные схемы базу, которая была бы свойственна не каждой из них в отдельности, и не подчиняет первоначальную прерывность схем скрытому процессу унификации, не являющемся действием, вытекающим из них? Наоборот, моторные схемы — это только элементы, вначале рассеянные, данного процесса унификации. Тем более, если существование моторных схем вторично по сравнению с существованием развивающейся деятельности в субъекте, объем результатов, полученных от их

случайных столкновений с внешними ситуациями, нельзя приравнять к простой эманации от совокупности схем. Именно на этой 3 стадии будут намечаться различия предметов, пространства, причинности, времени. Представления об отношении, которые предполагаются ими и всегда порождаются взаимной ассимиляцией одновременно действующих схем, найдут благоприятный момент для своего проявления в более отдаленных событиях. Расстояние диктует усилию воспроизводящей ассимиляции интуицию отношений, которые требуют от моторных схем определенных адаптаций и трансформаций. Но и интуиция не может быть простым следствием схем. Она предполагает нечто, уже подобное субъекту.

Предмет, в котором начинает воплощаться внешний мир, должен бы являться результатом координации между зрением и хватанием. Он передает постоянство, придаваемое действию теми вещами, на которое оно распространяется, а также то сопротивление, что вещи противопоставляют действию тогда, когда они и оно представляет собой противоположности. Но как только вещи вышли из поля восприятия, прекращается действие: время предмета еще не выходит за пределы времени восприятия. Существование предмета, таким образом, полностью поглощается моторными и сенсорными впечатлениями. Раздвоение на акт и его мотив не является, однако, грубым данным фактом перцепции, если только не рассматривать чувствительность как нечто иное, чем простую сумму ощущений и их моторного сопровождения. Ощущения сначала не делятся между внешним мотивом и субъектом, их последовательность можно отождествить только с чувствительностью. Как же могут они противопоставить личность объекту? Дифференциация невозможна, если исходить из их последовательного или комбинированного содержания; скорее она находится в зародыше, в латентном конфликте, который будет более аффективным и постулярным источником, чем сенсорным и моторным.

Что касается понятия пространства, то оно имеет своим источником взаимную координацию различных сенсорных и моторных пространств. Но эти пространства должны прежде всего представлять каждое состояние слитности, единства, систематизации, состояние, образующее из любого жеста или действия нечто иное, чем про-

стую случайную последовательность. Происходящие перемещения должны быть способны вернуться к своей исходной точке, и необходимо, чтобы деятельность начала образовывать замкнутые совокупности. Пиаже стремится построить теорию знаний ребенка о том, как пользоваться пространством, по образцу такого понятия «группы», как его определил Пуанкаре. Перцепция, которую он этим осуществляет, связана с сочетанием и постепенным усложнением групп. На 3 стадии группы относятся только к действию ребенка на предметы и не относятся к взаимному перемещению предметов. Следовательно, они выражают только субъективное пространство и уже не может быть речи о представлении. Но можно ли простым повторением, простым совпадением моторных схем объяснить установление и прогрессивную координацию групп? Не предполагают ли они сами способности к систематизации, развитие которой должно следовать за развитием нервного организма?

Если на 3 стадии обнаруживается, что намечается также понятие причинности, то это потому, что собственные жесты ребенка не являются больше единственным мотивом его действия, а сами поддерживаются или вызываются теми движениями, которые они передают предметам. Объективируясь в движениях, жесты остаются в зависимости от предмета и прекращаются, стоит исчезнуть ему, подобно тому как кошка перестает бежать за клубком, потеряв его из виду. Еще, следовательно, не произошло разделения между жестом и его объективной причиной. Причинность еще не является переходной. Если у ребенка есть какое-то понимание причинности, то это потому, что он является скорее творцом своих собственных движений и их принадлежностей, чем творцом тех действий, которые он связывает с внешней реальностью. Понятие причинности, когда оно начинает намечаться, еще общо, субъективно и случайно.

И, наконец, понятие времени должно иметь своим источником интервал, отделяющий жесты от предметов, движения которых необходимо воспроизвести и поддерживать. Этот интервал не только образован местными посредниками, но и предполагает также некоторую обязательность предшествования и последования. Следовательно, уже есть структурное построение во времени. Но данное построение еще не выходит за пределы момента

совершающегося действия и не устанавливает связи между двумя стадиями того действия, которое совершается. Во временном единстве, соответствующем каждому этапу, еще не определенно реализовано понятие предшествующего и последующего, что на этой стадии оно рисковало бы нарушить непосредственную связь и внутреннее сцепление, в которых еще нуждается действие.

Следовательно, в конце первых 3 стадий моторные схемы должны дать очертания категорий, на которых основывается чувственный и интеллектуальный опыт. Однако мир ребенка еще полностью лишен объективности, внешние эффекты, способные поддержать его деятельность, должны быть перед ним в данный момент. В этих условиях всякое настоящее представление еще не возможно, ибо оно не может быть без представляемых предметов, постоянство и независимость которых противостоят собственной деятельности субъекта. Для представления необходимо, чтобы к реальности присоединилась ее копия и чтобы эта копия не смешивалась со своей наличной материальностью, с теми моторными или перцептивными реакциями, которые она в данный момент способна вызвать. Несомненно, повторение жестов для воспроизведения эффекта, действительно, указывает на интенциональность, а в интенциональности есть нечто, что еще не существует, следовательно, представление в потенции. Но эффект, даже исчезнувший тогда, когда ребенок пытается его восстановить, оставляет след, который переходит в ожидание и резонанс, от которого в психомоторной системе облегчается его активное восстановление. Это явление довольно близко к персеверации. Нет необходимости, чтобы между воспроизведением и первичным произведением находилось бы представление.

Помимо интенциональности, представление требует способности вызывать в памяти одно и то же на двух ступенях: с одной стороны, представление само по себе способно вызвать в памяти действие или реальность, образом которой оно является, а с другой стороны, оно должно обладать способностью быть вызванным. Мы имеем функциональное предшествование представления отсутствующему объекту, на которое наслаивается предшествование изобразительной способности еще отсутствующему представлению. В некоторой степени предста-

вление следует за своим мотивом, за понятием, которые следует выразить. Однако оно является некоей реализацией мысли. Следовательно, оно должно пользоваться адекватными средствами и материалом. Представление должно использовать не только материал, из которого, кажется, состоит его конкретное содержание и которое, впрочем, не обладает неподвижностью, пассивностью, что обычно предполагается в нем, но также и всю крайне изменчивую систему черт, ориентиров и знаков, которые должны привести его в надлежащую форму, в состояние либо пластичного развития, либо эллипса, что требуется от него совершающимся интеллектуальным действием. Такова программа. Через какие же ступени три последние стадии Пиаже должны привести к результату?

В течение 4 стадии — от 8 или 9 месяца до конца 1 года — известные средства применяются к новым ситуациям. Теперь проводится различие между способами и целями. Схемы подвергаются проверке и координируются в зависимости от потребностей. При их помощи предметы поставлены в отношения и локализуются в пространстве. Это начало объективного пространства. Вместе с тем это и начало различия между чувством личной деятельности и причиной замеченных событий. Временные серии начинают располагаться в зависимости от последовательности событий, а не только в соответствии с собственной деятельностью. Цель еще не выходит за рамки наличной ситуации, но может использовать препятствия, которые потребуют применения косвенных средств и их выбора среди известных ей схем. Необходимо, например, отодвинуть рукой какой-либо предмет, чтобы схватить другой, впрочем, видимый предмет, или употребить какое-либо орудие, чтобы достать его. В противоположность предшествующей стадии предметы уже разнообразные, а не слившиеся в единое целое. Одновременно с препятствием должна возникнуть таким образом и индивидуализация отношений, составляющих одну и ту же данную ситуацию. Следовательно, ребенок уже отличается от описанных Келером шимпанзе с их использованием уловок и орудий. (См. гл. II.)

В приемах на этой стадии Пиаже уже видит зародыш логических операций, предполагающих включение понятия, иерархическое вовлечение, интерференцию или даже отрицание. Схемы будут уже иметь родовое значение,

которое должно расширяться по мере того, как разнообразятся отношения между предметами. Тем самым будут установлены виды или классы, а также количественные отношения, поддерживающиеся схемами, ставшими независимыми и подвижными. Простое сочетание жестов между собой в зависимости от потребностей и распространение их применения сообразно с опытом должны, следовательно, уже соответствовать способности классифицировать предметы между собой и во внешнем мире.

Прогресс, достигаемый на следующей, то есть на 5 стадии, заключается в раскрытии новых средств при помощи активного и систематического экспериментирования. Цикл циклических реакций становится более сложным; они достигают своей третичной фазы, и их операции внутренне контролируются сознанием отношений. Это начало дедукции. Таким образом, через сочетание, интерференцию, взаимное вовлечение моторные схемы должны осознать собственные отношения, а также способность систематически расширять их применение.

Случайно полученный эффект теперь так дифференцируется, что подчеркивается его сущность. Начинает действовать эмпирический интеллект. Он является интенциональной и дифференцированной аккомодацией к новым обстоятельствам, из которых им действительно извлекаются новые эффекты. Это опыт «чтобы видеть», нужно узнать, как будут изменяться результаты при изменениях действия. На предшествующей стадии ребенок хватал предмет только в том случае, если видел его одновременно с рукой. А теперь он хватает предмет, каково бы ни было первоначальное положение его руки. Многочисленные виды использования и попытки использовать предмет, причиной которых является он, придают ему вещественную реальность; на ее основе создаются новые отношения, а именно, ведение за веревочку, за палку, за скамейку. Здесь еще есть только комулятивный эффект ощупывания, осуществляющийся для самого себя, и все еще нет первоначального или направляющего представления. Таким образом, согласно Пиаже, констеляции, образующиеся в перцептивном поле для соединения средств и целей, должны быть полностью сведены к простым моторным попыткам, к примитивному обращению с предметами. Но элементы констеляции уже индивидуализиро-

ваны и содержат в потенции понятия, которые в определенный момент позволят четко отождествить их.

Словом, представление появляется на 6 стадии. При изобретении новых способов начинают возникать психические комбинации. Как бы важно ни было это изменение, оно тем не менее не содержит ничего радикального. Источником его всегда является простая взаимная ассимиляция схем. На предшествующих стадиях схемы только накапливали экспериментальные результаты, однако скорость и усложнение данного процесса возрастали. На 5 стадии выдумка сразу стала структурой. Между этими разными ступенями, согласно Пиаже, есть только различие в скорости процесса. Если, кроме того, ум располагает достаточным числом схем, структура становится возможной. Представление же, в свою очередь, выступает как самый деятельный символ его изобретательской деятельности. Представление является тем, что обозначает нечто, а схемы тем, чем обозначено оно; но главным всегда остается их взаимная ассимиляция. Выдумка зависит исключительно от нее. Тем не менее каким бы постоянным Пиаже ни представлял себе данное поступательное движение процесса, он не мог поступить иначе, как ввести в него два термина, не содержащиеся в моторных схемах, а именно, ум и символ.

Переходя от описания к истолкованию процесса, Пиаже строит психическую эволюцию на слишком узком и парцеллярном фундаменте. Он ее строит из элементов, которые первоначально были разделены, а потом должны только объединиться и ассимилироваться между собой, и вся психическая жизнь может быть результатом этой единственной операции. Таким образом, дробя фундаментальное единство психической жизни на множество таких аспектов или фаз, в каких она проявляется, Пиаже считает их отдельными частями, из которых ей остается только возникнуть. Но он не может объяснить ни самого этого единства, ни того обогащения, что должно производиться в ходе функциональных дифференциаций и органической эволюции, которые обусловливают его. В то же время, сводя к чисто индивидуальным факторам моторики такие способности, как пользование символом и выражение мысли, что свойственно только социальной личности, Пиаже недопустимо суживает основы психической жизни.

* * *

Объяснительная система, предложенная Пиаже, является тем более поучительным примером, что в ней содержатся тонкие описания явлений и большая изобретательность в параллелях. Но ее недостатки — это недостатки любой психологии, сфера изучения котсрой ограничивается индивидуумом, а в индивидууме абстрагированными от него проявлениями сознания. Несомненно, что отношения здесь кажутся искаженными. Внешние видимые движения заменили психические образы в качестве материала психических построений; сознание дано как нечто производное, а не как то, что является отправной точкой. Но это изменение скорее кажущееся. То, что не было признано вначале, предполагалось заранее, и только на этом основании оно могло оказаться в данном результате. Переход моторных схем к интеллектуальной деятельности не представляет собой результата эффективных эволюций или мутаций. Моторные схемы на каждом этапе интерпретировались и создавались по образцу логической системы, которая, впрочем, является только логической системой какой-либо школы или эпохи. С моторными схемами, как и с образами, план реального растворяется в плане идей. Кроме того, несомненно, что Пиаже приписывает опыту ведущую роль. Моторные схемы исправляются, обрисовываются, распределяются между собой в зависимости от тех причин и столкновений, которые опыт противопоставляет им. Но от Беркли до неопозитивистов имеется множество примеров, которые показывают, что эмпирическая и идеалистическая точки зрения не являются непримиримыми.

Основной чертой психологий сознания является искание только в индивидууме элементов или факторов его психической жизни. Подобно Робинзону на своем острове, он обладает желаемыми способностями, чтобы непосредственно извлекать из окружающей природы материальную субстанцию и орудия, в которых нуждается цивилизованный человек или которых требует упражнение в мысли. Чтобы наблюдать в чистом виде данный акт самосозидания, якобы достаточно найти в самом индивидууме первичный элемент, от которого он мог бы начать это созидание, найти простое проявление, из которого возникнут все остальные. Дело здесь в способности отвлекаться от имеющегося на 2 противоположных полю-

сах материала, который дает коллективная мысль и структуры, лежащие ниже психической жизни: наследство общества и наследство вида. В частности, Пиаже в психической эволюции ребенка определенно не придает значения созреванию, то есть вмешательству в констатируемые эффекты, процессов, развивавшихся до сих пор вне психического плана и без очевидной интерференции с ним. Таковы, например, физиологические процессы, изменения которых могут повлечь за собой изменения в психической деятельности. Таковы, например, нервные структуры, продолжающие формироваться еще долгое время после рождения ребенка и получающие свободу функционировать каждая на определенном этапе.

Злоупотребление анатомией, которое в свое время имело место в психологии, не является основанием для отрицания всякой связи между организмом и психикой. Впрочем, это злоупотребление заключалось главным образом в том, что копировали анатомические элементы и их роль с того, что, казалось, раскрывал анализ психических элементов и их отношений; затем это создавало иллюзию, что эти последние могли быть выведены из первых. Таким образом, представители ассоциационизма охотно отождествляли перцептивные и моторные образы с материальными отпечатками, объясняя их сочетания теми колебаниями, которые они передают друг другу. Представление о таком точном совпадении и одностороннем действии является, несомненно, произвольным, бесполезным и противоречащим фактам. Картезианский параллелизм был гораздо менее упрощенческим и фальшивым. Законы мышления и законы пространства или материи постулировались как тождественные. Но обе реальности оставались разделенными. Одна из них не просто сводилась к другой, и ее эффекты не рассматривались как простая копия. Обе сущности могли быть в своей основе идентичными, речь шла о том, чтобы найти каждую из них в фактах или существованиях, которые обладают ею.

Однако их соответствие было предопределенным, оно основывалось на божественном правдоподобии и совершенстве. Тот порядок, который они воспроизводили в каждой сущности, был установлен издревле и не имел ни становления, ни конфликтов. Между сущностями не могло быть взаимодействия. Наоборот, то, что воспроиз-

водят нервные структуры, их роль в психической жизни являются результатом истории, организации с различными формами и уровнями, из которых каждый соответствует данному способу действия и реагирования, данной форме поведения. Переход от одного уровня к другому не происходит без нарушения либо внутреннего равновесия, либо в отношениях с внешним миром. Из этого столкновения между организмом и средой психические реакции и впечатления выходят тесно связанными друг с другом. Они при этом одновременно играют роль следствий и причины и выражают возможности живого существа. Но среду, которая в действительности является средой их впечатлений и реакций, данные психические реакции и впечатления могут изменить. Именно благодаря им возможно измерить не только пространство, но и свойства среды.

Для человека физическая среда — среда сенсорно-моторных реакций и наличных целей — дополнилась средой, основанной на простом представлении, в которой действующие орудия представления и возможности сочетания стали настолько свободными, разнообразными и легко закрепляемыми, что роль второй среды в регуляции поведения все время возрастала. Интерференции между двумя средами с необходимостью являются многочисленными, постоянными; но способ реагирования на среды и присущие им мотивы настолько различны, настолько противоположны, что их сосуществование, их конкуренция дают обильную почву противоречиям, конфликтам. Две системы неоднородны по функциям, соперничающим между собой, каково бы ни было родство нервных структур, соответствующих каждой из этих систем. Способами действия в одной системе являются движения, а символическая деятельность — в другой. При исключительно моторных реакциях интеллект не обязательно отсутствует, но в этом случае в нем нет ничего от тех приемов, которыми пользуется мысль. То, что отличает моторные реакции от интеллекта, является не проблемой степени, а различия направления, цели и средств. Каким же образом движение, моторные схемы могут посредством простого раздвоения или копирования дать категории познания?

И действительно, сущность и эволюция предметов полны противоречий; изменение, переход из одного состояния в другое, происходит не без конфликтов; пред-

ставления, понимание мира не может не вызвать антиномий. Чтобы разрешить эту проблему, нужно ли нейтрализовать элементы антиномий? Выделить в изменении его этапы для того, чтобы сделать незаметным самое изменение — не значит объяснить его. Различие не стирается, противоречие не разрешается тем, что два эффекта или две наличные реальности считают подобными или идентичными. Напротив, чтобы разрешить противоречие, следует углубить различие между двумя эффектами или наличными реальностями и проблему причин и условий этого различия.

Глава II

ПСИХОЛОГИЯ СИТУАЦИЙ

Предметом психологии может быть не индивидуум, а ситуация. Тогда этот предмет сливается с эффектом, вызванным ситуацией, с искомым или найденным преодолением тех трудностей, которые она выражает. Акт рассматривается извне, без всякого постулата сознания или личности. Изучение субъекта ведется через его поведение, в тесной связи с теми обстоятельствами, которые заставляют его реагировать. Ничто нам не разграничит *априори* ту часть, которая приходится на долю обстоятельств и субъекта. Ничто нам не даст возможности предположить взаимную роль биологических структур и психической изобретательности организма и личности. Только при помощи наблюдения, анализа и сравнения можно различить действующие факторы. Однако этот строго объективный метод, исходящий из нераздельности внешних и внутренних сил, физических необходимостей и психических возможностей, наиболее пригоден для того, чтобы раскрыть противоречия, конфликты, показать дифференциации, вытекающие из них.

Первоначальными отношениями живого существа и среды являются такие, при которых их действия сочетаются наиболее полно. Только возрастающая независимость индивидуума по отношению к внешним влияниям создает спецификацию поверхности контакта. Классическая психология предполагала во всех психических проявлениях личное чувство или границу, противопоставленную сознанием внешним реальностям, которое

является только поздним выражением дифференциации между субъектом и окружающей средой. Даже в тех ситуациях, которые уже вызывают комплексную деятельность, наличие этой границы далеко не доказано. Напротив, это затруднение, которое нам необходимо преодолеть своего рода динамическим слиянием между полем препятствий и полем моторных возможностей. Несомненно, что их противоположная и дополнительная изменчивость может вызвать первое расслоение. Но от одного непосредственного и индивидуального контакта с вещами не возникнут формулы, в которых можно было бы фиксировать и стабилизировать различие между самим собой и посторонним.

Ситуация может быть идеальной, то есть основанной только на представлениях; она может заключать лишь решения интеллектуального или воображаемого порядка. Но тогда материал символов и идей, которые требует ситуация, ставит ее в зависимость от видов психической деятельности, поддерживающейся в языке, в коллективной мысли. Таким образом, ситуация обладает условиями и отражениями действий, размеры которых уловить трудно; ее эффекты непосредственно невидимы. Рассматриваемые здесь ситуации относятся к сенсомоторному плану; предмет, обстоятельства и реакции должны восприниматься в своей совокупности. Разумеется, что уровень вызванных реакций очень изменчив. В зависимости от момента, индивидуума и вида цикл, объединяющий восприятия и движения, может дойти до структур, создать комбинации, где богатство собранных элементов и действенность результата позволяют распознать интеллектуальный размах различной силы. Но как бы искусно ситуации, казалось, ни организовывали обстоятельства, они всегда реализуются в актуальном и конкретном.

Интеллект, который проявляет себя без формул и только находит решение, соответствующее каждой ситуации, часто называется практическим интеллектом. Таким образом, данный интеллект противопоставляют интеллекту словесному, дискурсивному, сознательному, действующему разумно, одним словом, интеллекту познавательному. Из классической психологии известны лишь следующие его операции: суждения, классификации, определения, образы. Однако термин «практический интеллект» вызывает смущение. Практические проблемы могут слу-

жить поводом для определенных суждений и средством для формулирования знаний. Практика часто противопоставляется теории как искусству находить ей полезное применение и делать из нее полезные выводы. Было бы точнее и имело больше смысла назвать данный интеллект пространственным. Сенсорно-моторная деятельность связана с внешним пространством; решения, формулировка которых не является ни словесной, ни умственной, должны выражаться в пространстве; анализ констатируемых результатов позволит нам, наконец, свести интеллект ситуаций к интуиции отношений, которые существуют или могут существовать в пространстве.

Наблюдаемые ситуации могут создаваться сами собой, но чаще их создают. Действительно, с помощью экспериментирования можно осуществлять более систематическое исследование, что дает возможность исключить действие случайных причин. Экспериментирование позволяет ограничивать контролируемый эффект, рассматривать более определенно тот или иной ряд существующих отношений. Например, расстановка обстоятельств может проводиться так выборочно и детально, что они превращаются в единственный объект исследования, в то единственное, что определяет эффект, и нам остается только констатировать, вызывается он или нет. Наоборот, при проведении опыта могут стремиться главным образом к тому, чтобы выявить реакцию в ее возможных вариациях, в ее полноте и, наконец, спонтанность, присущую самому субъекту.

Выбор ситуации зависит также от того представления о практическом интеллекте, которое создается у экспериментатора. Для тех, кто видит в данном решении сумму частных открытий или удачных находок, а в интеллекте первоначально разделенные акты, которые, постепенно сливаясь, в конечном итоге дают единство, ситуация комбинируется таким образом, чтобы расчленить процесс подхода к окончательному результату на исчисляемые элементы. Наоборот, те, кто считает интеллектуальный акт совокупностью, элементы которой приобретаются или взаимозаменяются вплоть до решения, но единство которой, поддерживаемое с самого начала через «приливы и отливы», является условием успеха, подготовит поле опыта таким образом, чтобы предоставить субъекту свободу организовывать что-то, используя по своему

желанию благоприятные обстоятельства. Различие в методах влечет за собой разные результаты. Было бы ошибкой делать из этого односторонние выводы, которые можно смешать с полным определением интеллектуального поведения. В действительности, однако, каждая из двух тенденций при объяснении явлений берет верх, в зависимости от авторов, а иногда и в связи с одними и теми же опытами. Отправной точкой для одних является плюральность, для других — единство; для одних — целое и организующий акт, для других — части и воздействие обстоятельств.

* * *

Типом объяснений, сторонники которого придают первостепенное значение обстоятельствам, является такой тип, когда первичные психические сочетания приравнены к условным рефлексам. При помощи точных опытов Павлов и его школа показали, каким образом условные рефлексы способны осуществлять между раздражителем и реакцией самые различные ассоциации. Некоторые ученики Павлова, в том числе и Красногорский, пытались выяснить, не могло ли бы воспитание отчасти заключаться в том, чтобы создать полезные условные рефлексы. Наконец, другие авторы, в частности Винч (Wintsch) [1], стремились истолковать развитие спонтанных реакций у ребенка как систему условных рефлексов, источником которых является стечение обстоятельств, обычно встречающихся в повседневной жизни. Действие этих реакций заключается в том, что они таким образом сообразуют поведение с обстоятельствами и, следовательно, его регулируют, приспосабливают к среде. Искушение приравнять самую элементарную систему реакций, наиболее известные механизмы, удобные при экспериментировании, к таким проявлениям, как проявление интеллекта, тонкость и изменчивость которых больше не поддается анализу, — это искушение всегда велико. Но такое упрощение не должно привести к устранению из объяснения необходимых факторов.

В физиологической совокупности животного каждая реакция зависит от некоторого возбуждения, которое

---

[1] J. Wintsch, Les premières manifestations motrices et mentales chez l'enfant. Lausanne, Payot, 1935.

Павлов называет ее *безусловным раздражителем.* Если получается так, что этот раздражитель сопровождается или, точнее, ему непосредственно предшествует другое какое-нибудь впечатление, то его способность вызывать реакцию передается данному впечатлению, которое становится, таким образом, *условным раздражителем.* Для этой передачи обычно необходимо, чтобы оба раздражителя несколько раз действовали вместе. Наоборот, условный раздражитель, который слишком долгое время повторяется один, становится в конце концов вновь недействительным, впрочем, не из-за того, что он ослабевает, а из-за того, что происходит торможение его действия. Способность к условным рефлексам более или менее развита. Она, очевидно, имеет два вида условий: одни соответствуют быстроте, регулярности, устойчивости передачи; другие — дифференцированию между ближайшими впечатлениями, так как животное более или менее способно реагировать только на некоторый оттенок раздражения. Это различение объясняется, по Павлову, деятельностью мозговой коры, которую он рассматривает как своего рода анализатор. Будучи высшей ступенью нервных центров, она содержит, в частности, центры, использующиеся для познания.

Между экспериментальными ситуациями, которые осуществлялись в лабораториях по методу Павлова, и естественными ситуациями нет неустранимого различия. В обоих случаях эти ситуации образуются совокупностью обстоятельств, имеющих между собой связь в сосуществовании или в непосредственном следовании друг за другом. Из рук экспериментатора ситуации получают максимум демонстративной простоты, ибо он может связать между ними только два вполне определенных обстоятельства и строго измерить то количество раз, которое они должны повториться вместе, для того чтобы возник условный рефлекс, или то количество раз, которое условный раздражитель может повториться один, без торможения рефлекса. Именно сам экспериментатор, по своей воле, регулирует выбор раздражителей и постоянства или промежутки между их сосуществованиями. В самой же реальности действуют условия существования раздражителя. Когда оказывается, что обстоятельства случайно соединяются, то они могут не повториться каждый раз одновременно и тогда не возникает условного рефлекса.

Если же, наоборот, обстоятельства относятся к одному и тому же порядку фактов или ситуаций, они достаточно часто совпадают, чтобы установить связь, чтобы условный раздражитель стал в известных случаях средством для предвосхищения обстоятельства, которое должно оказать влияние на поведение субъекта. Таким образом, создается своего рода рефлективное предвидение, выбирающее в каждом случае соответствующую реакцию.

Используемые Павловым реакции были вегетативного порядка. Первой целью его работ было изучить специфику желудочных секреций в зависимости от характера пищи. Затем у Павлова возникла мысль присоединить к приему пищи какой-нибудь раздражитель и, нарушив весь порядок своего исследования, он занялся в основном сенсорным раздражителем; но реакция-свидетель оставалась пищеварительной. Один из учеников Павлова, Метальников, глубже проникая в область органической жизни, сумел при помощи условного рефлекса даже вызвать реакцию иммунитета. Он сочетал впрыскивание микробов со звуком трубы и отмечал позже, что звук трубы приобретает способность увеличивать количество белых кровяных шариков, циркулирующих в крови. В данном случае, очевидно, перед нами эффекты, наиболее независимые от воли и не относящиеся к сознательной жизни.

Но, с другой стороны, наряду с вегетативными рефлексами Павлов ссылается на другие, которые по своим проявлениям принадлежат к жизненным отношениям, как, например, рефлекс «свободы», так быстро образующийся у некоторых субъектов, когда с ними производят опыт, что становится невозможным образовать другие рефлексы. При эмоциональных состояниях, психомоторные эффекты которых, впрочем, имеют прочную основу физиологических реакций, особенно часто видно, как обстоятельство, совершенно постороннее специфическим мотивам и природе эмоции, с которой случайно связано данное событие, объединяется с нею прочной связью и становится впоследствии достаточной причиной ее возобновления [1]. На этом механизме Уотсон основал даже целую систему. Каждому виду эмоций соответствует только один или два специфических раздражителя. Дальнейшее разнообразие мотивов этих эмоций зависит только либо

[1] V. H. W. L'enfant Turbulent, partie I, chap. I. Paris, Alcan, 1925.

от обычного, либо от поразительного совпадения их безусловного мотива и каких-либо обстоятельств. Так, например, страх, проявления которого являются специфической реакцией на нарушение равновесия или на шум, экспериментальным путем можно развить в боязнь животного подобного вида или в боязнь подобной ситуации. Другие авторы рекомендовали привить таким образом ребенку механическую привычку к автоматическим реакциям и аффективным сложностям, необходимым для его непосредственной безопасности, приличия или элементарной морали, систематически сочетая те автоматические реакции и аффективные склонности, которые следует избегать, с тяжелыми впечатлениями, а те, которые приемлемы, — с приятными впечатлениями. Природа действовала бы заодно с ребенком, но почти наугад. Таким образом, некоторые стремились объяснить первичные проявления мотивированного поведения ребенка механизмом условных рефлексов.

Объяснение первичных психических комбинаций при помощи условных рефлексов, как и интерпретация самих условных рефлексов, является механистической тенденцией. Она исходит из многочисленных элементов, имеющих собственное существование и сочетания которых должны быть достаточны, чтобы объяснить дальнейшие проявления. Действие вызывается из внешнего мира. Действующие факторы — это обстоятельства, различное, внутренне не связанное соединение которых является тем, чем можно объяснить разнообразие эффектов. Через посредство условных рефлексов первоначальными основами привычек, поведения и интеллекта субъекта становятся ассоциации тех возбудителей, перед которыми он оказывается. Из этих ассоциаций одни являются искусственными, как, например, ассоциации Павлова или ассоциации, которыми пользуется воспитатель, а другие — естественными. Ситуация, действительно, группирует обстоятельства, одни из которых всегда сопутствуют ей, а другие представляют собой чисто случайные. Случайные обстоятельства не воспроизводятся каждый раз, когда вновь появляется та же ситуация, и не служат поводом для условных рефлексов, как это происходит с обстоятельствами, которые воспроизводятся одновременно благодаря обычной или обязательной связи сосуществования. Таким образом, условные рефлексы как бы

автоматически согласуются со структурой реальности. Следовательно, структура самого интеллекта не имеет другой основы, кроме статистики встречающихся случаев. Наблюдение показывает, однако, что одно событие может быть причиной устойчивого переноса эффекта с одного раздражителя на другой; таков, например, эффект, возникающий в результате сильного волнения или соответствующий факту понимания.

В условных рефлексах некоторые видели сначала, так сказать, посмертное оправдание ассоцианизма, уже достаточно дискредитированного. Но видеть это — значит рассматривать только их внешнюю сторону. Ассоциация является здесь не пассивной связью между какими-либо элементами или элементами одного и того же вида, а реакцией, у которой обнаруживается наряду с ее специфическим раздражителем и вспомогательный раздражитель. С другой стороны, она предполагает активный процесс различения между разнообразными возможными впечатлениями. Ассоциация, на которую совершается перенос, должна быть отделена от потенциальной чувствительности. Этот факт очевиден тогда, когда условный раздражитель становится весьма специальным и ограничивается определенным оттенком ощущения. Трудную и утомительную дифференциацию между соседними стимулами, которую субъект вынужден проводить, и которая может вызываться внешним миром, а не сводиться к простому последовательному сочетанию более или менее контрастных раздражителей. Этот процесс предполагает точное и тонкое действие торможений, окружающих отдельное впечатление, которое должно войти в условный рефлекс. Раздражение, действующее сначала эффективно в своем общем виде, становится основой, на которой активными остаются только свойства избранного раздражителя. Наконец, эта способность к анализу, на которой основывается функциональное развитие рефлекса, его подготовка и, следовательно, сравнение и измерение сенсорных способностей, связана с функциями мозговой коры, являющейся будущим органом познания. Если есть какое-то сходство или родство между условными рефлексами и видами интеллектуального поведения, то его необходимо приписать именно общему месту нахождения, подобию операций, а не механизму ассоциации, имеющему нечто внешнее и случайное.

Кроме того, образование рефлекса в лаборатории во многом отличается от его образования в условиях повседневной жизни. Чтобы избежать вмешательства непредвиденных обстоятельств, Павлов создал для проведения своих опытов такие комнаты молчания, что ни свет, ни тени не могли изменить их вид, что лишь малейшая случайная перцепция могла присоединиться к выбранному раздражителю, заменить его или затормозить рефлекс. Напротив, в естественной же среде обстоятельства являются сложными и неоднородными. Если в ней образуются условные рефлексы, то выбор раздражителя не может являться причиной для устранения всех остальных раздражителей; он немыслим без эмоционального, эффективного или интеллектуального влияния. Начиная с этого, объяснение теряет свою кажущуюся простоту; оно уже зависит от чего-то иного, что может стать главным; оно не является более первоначальным объяснением.

В примерах, приводимых Винчем, который попытался свести процесс развития своей маленькой дочери до трехчетырехлетнего возраста к механизму условных рефлексов, его объяснение все время выходит за рамки факторов, активно участвующих в этом процессе. Отправным пунктом рефлексов сначала является чисто пищевая реакция. Между 1-м и 3-м месяцем вид белой блузы заставляет так волноваться ребенка, как он волнуется при приближении кормления. Если мать или няня подходят к ребенку, то начинаются движения сосания. Улыбка матери заставляет его улыбаться. Он перестает кричать, когда замечает мать. Но, несомненно, связь между матерью и ребенком, даже в первые недели, не основана исключительно на кормлении. Она служит также для ребенка источником других благ. Что касается соответствия между мимическими реакциями матери и ребенка, то оно не является по своему происхождению чисто внешним и случайным подобно тому, как это происходит при согласовании между какими-либо обстоятельствами. Не связывая, по примеру К. Бюлера, первых улыбок ребенка с одним только видом улыбки на человеческом лице, приходится признать, что улыбки относятся к функциональной серии, которая весьма быстро раскрывает свое предназначение: связывает ребенка с его окружением при помощи экспрессивных проявлений. Последние приспосабливаются к обстоятельствам не в результате многочисленных совпаде-

ний, которых требует образование условных рефлексов, а потому, что соответствуют потребностям отношений между индивидуумами, являясь их непосредственным органом.

Эмоция, в свою очередь, может стать мотивом условных рефлексов в том возрасте, когда она дифференцируется и создается. Ребенок в 7 месяцев начинает плакать как только начинают его распеленывать, так как его ругают, если он испачкан. Позже появление отца вызывает слезы, потому что существует плохая привычка рассказывать отцу в этот момент о тех шалостях, которые ребенок совершил. На 15-м месяце ребенок постоянно смотрит на свою правую руку, проявляя большое беспокойство, так как в тот момент, когда ему на руку села муха, дедушка сказал: «Берегись, она тебя сейчас съест». Впоследствии крошка черного хлеба, которая приклеилась к руке, вызывает у него такое беспокойство, что на некоторое время приходится надеть ему на руку перчатку. В двух первых примерах налицо перенос с эмотивной реакции на обстоятельства, прямо с нею не связанные. В последнем примере непосредственная связь объединяет беспокойство с видом органа, находящегося под угрозой. Следовательно, там, повидимому, нет места для условного рефлекса.

Следовало бы проводить подобные различия в многочисленных случаях, приведенных Винчем. Сводить их все к механизму условных рефлексов — значит часто искажать их и заслонять от самого себя иногда важные факторы психического развития ребенка. Когда его дочка в 15 и 19 месяцев после насморка сохраняет привычку при виде носового платка хватать его и повторять жест сморкания, разве это не тенденция практически осуществить употребление, свойственное данному предмету, иначе говоря, овладеть той функциональной областью, инструментальная апраксия которой является отрицанием, а не случайной связью при помощи условного рефлекса? На 21-м месяце, когда ее положили в кровать без резиновых штанишек, она прилагала все время усилия, чтобы натянуть их самой. Здесь еще наличие предмета побуждает к пользованию им; лично пользоваться предметами — значит применять способ отождествления предметов, который предшествует их объективному отождествлению. Может быть, ребенок находится под проприоцептивным или тактильным впечатлением недостат-

ка, отсутствия. Распространенное ощущение представляет собой ощущение неполноты тогда, когда не потакают какой-либо привычке. На 22-м месяце тот же самый ребенок кричит, если у него нет куска мыла, который его мать обычно дает ему при купании. Не присоединяют ли при помощи использования вещей эти различные чувства сопринадлежности между вещами и ребенком к механизму условных рефлексов фактор схватывания, осуществляемый посредством действия, которое нельзя объяснить другим способом?

Чтобы воспроизвести виды привычного поведения или добиться желаемого результата, действия ребенка связываются не только с предметами посредством пользования ими, но вскоре также и с целыми ситуациями. На 21-м месяце, когда ребенок поздно просыпается и ему кажется, что никто не думает о его купании, он раздевается и сам идет в ванную. На 22-м месяце он останавливается перед кондитерской, где накануне его друг купил ему шоколад. В начале 3 года ребенок, раздеваясь у врача, выражает желание помочиться. На 26-м месяце, выходя со своей бабушкой, которая держит в руках фотоаппарат, он собирается расположиться на лужайке, где около двух недель тому назад фотографировали его; если же фотоаппарата нет, этого не происходит. Объяснять эти комбинации действий и обстоятельств механизмом условных рефлексов — не значит ли чрезмерно раздувать роль данного механизма и заставлять его утрачивать ту безукоризненную строгость, которая составляла его достоинство. Здесь правильное приспособление к действию оказывается обычно направлено больше к целому, чем к определенному обстоятельству, и зависит главным образом от внутренней значимости, которая есть не плод простого сравнения двух каких-либо терминов, а понимание их взаимоотношений. Это структура, мотив которой не является внешним, а присущ соединенным терминам.

Так как ребенку нравится отождествлять предметы с их обычным употреблением, он воспроизводит некоторые сцены как настоящий обряд. На 21-м месяце каждый раз, как только он причинит себе боль, надо, чтобы подули на больное место, говоря «бобо прошло». В течение 3-го года при каждой из своих шалостей ребенок закладывает руки за спину и становится в ту позу, в которую обычно его ставят для наказания. Таким образом, в его

поведении смешивается то, что развивается из другого, и то, что исходит от него самого. Ребенок спонтанно реализует неприятные, исходящие от постороннего источника следствия, потому что он остается пленником ситуаций, не научившись еще диссоциировать от нее свою собственную личность[1]. Только к 3 годам происходит кризис личности, когда субъект старается, наконец, отделить себя от того, что он испытывает, и различить в своем собственном «я» существо активное от того, которое находится под впечатлением или подвержено внешним воздействиям (contrainter).

Этой нерасчлененной интуицией объясняется его обычное приспособление, которое не сводится просто к условным рефлексам. Если субъект неспособен свободно пользоваться своими манерами или видами поведения, которые он осуществляет в некоторых ситуациях, то это значит, что при помощи своей чувствительности он еще не умеет отличать обстоятельства или действия другого от своих реакций, что пережитое им действительно смешало их. Раз субъект не умеет противопоставить свое личное поведение событию, то тем более как он сможет представить себе свое поведение варьирующимся в зависимости от события? Все, что он может сделать, заключается в том, чтобы добиться их одновременного или дополнительного повторения. Субъект не только повторяет прежние ассоциации; он хочет восстановить их. Если он желает добиться чего-нибудь от взрослого, чего он уже добивался, он постарается заставить его вновь проделать все ранее совершенные им жесты, как будто только их соединение может привести к тому же результату. Несомненно, можно подумать, что он дает простые указания, способные обозначить его желание и вызвать воспоминания, доброе расположение взрослого. Но это именно то, что субъект еще не может сделать: провести различие между призывом и действием, намерением и фактом.

Язык ребенка также свидетельствует об этом диффузном сознании, которое как бы его объединяет с тем, что не является им самим. Часто он проходит целый цикл вопросов и ответов либо повторяет то, о чем его спрашивали, прежде чем на это ответить, либо задает себе соот-

---

[1] V. H. W. Les origines du caractère chez l'enfant, Paris, Boivin, 1934.

ветствующие вопросы, если ему надо что-нибудь сказать о себе, либо ведет длинный монолог от лица нескольких собеседников, говоря поочередно за каждого, либо обращается к самому себе, чтобы себя похвалить, побранить, дать ответ или приказание в той форме, в которой к нему обычно обращаются другие. Даже кажется, что просто слышанные им слова остаются в нем, что он либо дополняет, либо заканчивает, повторяет их, либо даже возражает на них. Все это образует целое, в котором он менее сознает возражение других лиц, чем свое собственное последовательное присутствие в каждой из его частей. Ему нравится слышать, как он сам воспроизводит разговор, рассказ слово в слово, и если ему это не удается, он требует, по крайней мере, от взрослого ритуальной верности в передаче развития и выразительности рассказа. Эта склонность к привычной формуле, к стереотипу зависит также от еще не преодоленного своего рода смешения устного выражения и реального содержания, подобного смешению акта и обстоятельства или субъекта и ситуации.

Итак, во всех формах своей деятельности ребенок проходит через этап, на котором развивающийся процесс тесно связывает его с различными обстоятельствами его действия, так что ситуация и все то, с помощью чего она осуществляется и выражается, кажется, обрисовывают основные оттенки психической жизни. Повидимому, механизмом условных рефлексов нельзя объяснить психические структуры, соответствующие этому периоду. Но ситуативный интеллект был изучен прежде всего у животного.

* * *

Изучая ситуации, экспериментатор вместо того, чтобы попытаться раскрыть обстоятельства, скорее может стремиться установить реакции субъекта. Но примат одних над другими имеет различные ступени. В данном случае еще можно задаваться целью провести сравнение различных случаев настолько точно, то есть настолько точно в количественном отношении, насколько это возможно. К тому времени, которое требуется для решения, можно еще добавить время, необходимое для устранения ошибок, задержавших решение. Но для того чтобы легко отождествить случаи, надо суметь свести их к определенным

альтернативам; следовательно, проведение опыта играет определенную роль. Именно таким образом были придуманы опыты с лабиринтом, когда животное, чтобы выбраться оттуда как можно скорее, должно научиться избегать тупиков. Животное помещают несколько раз в один и тот же лабиринт, и быстрота, с какой оно стремится пробежать лабиринт без ошибок, отмечается в статистике на кривой, которая дает представление о его способностях. Животное может также выйти из клетки, действуя защелкой или задвижкой, правильные или неправильные передвижения которых можно точно отметить.

Движущая сила освобождения из плена может быть заменена движущей силой голода или боли. В этом случае целью прохождения пути, устранения препятствий будет захват добычи. Неправильной дорогой, которую следует избежать, окажется путь, где животное получит электрический разряд. Это различие в выборе мотивов, стимулирующих усилия животного, ясно доказывает, что вмешивается иной фактор, чем его изобретательность. Одно и то же самое животное в присутствии пищи будет не одинаково реагировать и удачно действовать в зависимости от того, накормлено оно или не накормлено. Кривая результатов животного сможет, таким образом, варьироваться по причинам, которые при проведении опыта нельзя ни регистрировать, ни измерять, и в этом состоит пробел в той точности, на какую претендуют, производя опыт.

Сравнение кривых показывает, что они могут соответствовать различным типам. Ошибки могут регулярно устраняться по мере продвижения вперед; это установление может также протекать с большими колебаниями от одного опыта к другому, и внезапно и окончательно заканчиваться. Первый тип представлен курами, клюющими зерна. Одни зерна прикреплены на светлом фоне, а другие лежат свободно на сером фоне; каждая попытка схватить зерно на сером фоне является ошибкой. Второй тип, в котором кривая ошибок неожиданно прерывается, указывает, согласно Келеру, на акт понимания. Он наблюдается в соответствующих испытаниях у животных уже высшего уровня, как, например, у обезьяны. Указывает ли противопоставление двух типов на коренное различие в природе соответствующих операций?

Замысел, из которого исходят, применяя «метод проб и ошибок», очевидно, заключается в том, чтобы выводить решение из элементов, не содержащих в себе таинственной способности или способности, добытой с помощью обмана. Сначала пробы эквивалентны между собой и берутся не преднамеренно. Отбор проб производится на основе успеха одних проб и неудачи других. Такое объяснение, видимо, является распространением дарвинизма на механизм видов поведения. Кажется, что данное объяснение не предполагает ничего другого, кроме признания события и необходимого устранения того, что не приводит к цели, что не является жизнеспособным. Это новый пример теорий, рассматривающих внешние силы и различные элементы, для того чтобы вывести из них образовавшееся единство. Это возрождение психологического атомизма, который пытается превратить общее и надлежащее поведение животного в элементарные, сначала полностью независимые друг от друга виды поведения. Но опыт показывает, что устранение ошибок не содержит в себе ничего механического и что оно не совершилось бы без голода, боли или инстинкта свободы, которые порождают в субъекте движущие им потребности. Исходя из индивидуальных проб, некоторые авторы затратили много труда на доказательство того, что неудача не может заставить исчезнуть эти потребности, если только не предполагать у каждого субъекта своего рода сознания, сознания своей неспособности. Но это было бы антропоморфическим индивидуализмом, противопоставленным атомистическому индивидуализму. Проблема может быть разрешена только исходя из целого.

Совершенно очевидно, что речь идет не о таком целом, которое должно существовать до его последовательного осуществления. В частности, когда ошибки регулярно устраняются в процессе постепенного развития, то, кажется, нет определенной силы, которая двигала бы этот процесс. Это повторение проб и их результатов, которое осуществляет свое действие. Имеется как бы комулятивный эффект, суммирование впечатлений, которые постепенно закрепляют предвидение неудачи до того, что делают его способным затормозить соответствующий акт. В этом состоит то, что называется механизмом эффекта: результат соединяется с актом таким образом, что оказывает на него в конце концов предупредительное

действие. Но по мере того как сфера акта все более расширяется, предвидение должно также распространяться на все целое. Лабиринт не изучается от элемента к элементу, от перекрестка к перекрестку. Данное изучение является скорее эскизом целого, пересматриваемого от опыта к опыту. Единства там не следуют сначала одно за другим, чтобы слиться затем в одно целое, а, наоборот, вырисовываются, уточняются, индивидуализируются соответственно их месту в целом и их своеобразным чертам. Это качественная последовательность, при которой качественные различия уточняются и подтверждаются от опыта к опыту. Эффект в акте является не внешним, а его результатом и регулятором одновременно.

В этом состоит довольно элементарная форма организации. Вместо, так сказать, непосредственной интуиции, позволяющей схватывать прямое и целое отношение между целью, обстоятельствами и средствами, мы имеем опыт, сначала неясный, в котором возможные жесты мало-помалу вступают в связь со своими непосредственными следствиями и конечной целью. Результат этого суммирования не является еще единственным и окончательным актом понимания. Это поступательный переход от диффузного и слабого чувства к полной реализации ситуации. Таким образом, полезные реакции все лучше и лучше отфильтровываются за счет других. Самой простой формой этой способности к отбору является чувствительность, связанная с особенностями ситуации, которая группирует, организует их под влиянием деятельности животного в соответствии с его потребностями и целями. По мере того как уровень операции поднимается, предвосхищение последствий становится более быстрым. Но основная интуиция, объединяющая акт с эффектами, присутствует в любом случае. Ее результаты, зависящие от способности животного организовывать свое действие в соответствии со своими восприятиями, а свои ощущения применительно к своему действию, приводят к различиям, которые могли бы показаться природными различиями, если переходят от курицы или даже от крысы к высшим обезьянам.

* * *

Именно для того, чтобы это противопоставить экспериментам «проб и ошибок», Келер изучил поведение

шимпанзе[1]. Он ограничивается тем, что отделяет шимпанзе при помощи препятствий от желанной добычи. Этим препятствием могут быть либо слишком большое расстояние, которое шимпанзе не в состоянии преодолеть скачками, либо решетка, отделяющая его от добычи, либо заграждение, которое ему мешает прямо подтянуть ее. Однако на том поле, где действует животное, встречаются некоторые обстоятельства, использование которых зависит от его изобретательности. Недостаточно измерить эту изобретательность преодоленными трудностями. Мы попытаемся главным образом разложить ее на ее основные операции.

При простой акробатике, которая в данном случае заводит опыт в тупик, наилучшее использование или естественных, или приобретенных автоматизмов предполагает динамическое представление о теле в его моторном пространстве и все возрастающую точность его приспособления к растущему числу тех точек опоры, которые предлагаются внешним миром. Любая деталь предмета растворяется, ассимилируется, интегрируется потенциальными жестами. Деталь сливается с интуицией их возможностей, которым, впрочем, она позволяет разнообразиться, давая им более ими менее широкую клавиатуру точек опоры. Взаимоотношения в пространстве являются еще включенными в образ, который животное умеет в зависимости от обстоятельств создать о своих моторных способностях. Совсем иным является тот образ, который ему понадобится для преодоления хитростью какого-нибудь промежутка, создающегося в его поле действия между добычей и жестами, возможными для него. Они должны быть дополнены чем-то, что представляет собой внешнее по отношению к ним. В поле действия поле восприятия должно иметь тенденцию одержать верх над полем моторных автоматизмов. Теперь скорей движения должны иметь тенденцию включиться в деталь предмета или топографии, чем наоборот. Поле восприятия дает движениям животного не только точки опоры; они должны найти с его помощью свои приемы и направления. Отношения в пространстве являются не только тем, что само поле вносит в жесты, которые необходимо

---

[1] K. L'intelligence des Singes supérieurs. Trad. Guillaume. Paris, Alcan.

сделать, но и тем, что распределяет между собою положение или формы. Этой стадии соответствует первоначальное пользование инструментами или обходом.

Впрочем, начало пользования инструментом может больше относиться к первому случаю, чем ко второму. Так, например, некоторые обезьяны обычно пользуются для прыжков шестом. Вертикально установив шест, они затем быстро карабкаются, чтобы броситься на добычу. Так же, как и деревья, шесты представляют простую точку опоры, но они уносят их с собой, чтобы в случае надобности воспользоваться ими. Несомненно, что этот акт предвидения и особенно эта способность выделять из грубых очертаний, которыми природа наделяет использованное обстоятельство, черту, которую можно использовать, являются уже значительным прогрессом. Но шест это еще только то, что необходимо для того, чтобы карабкаться. Некоторые животные оказываются даже не в состоянии различать его размеры. Данным животным все равно, будут ли они опираться на толстый или на тонкий конец шеста. Уже совершенно иную интуицию предполагает палка, которую случится животному схватить тогда, когда оно увидит, что его рука не достает до добычи. Палка включается в видимое пространство между жестом и объектом вместо того, чтобы являться только условием жеста. Она присоединяется к жесту и проникает в сферу действия через посредство и под контролем зрения, вместо того чтобы относиться к комплексу впечатлений и рефлексов, из чего и возникает автоматизм. Но открытие и изучение ее употребления, ее сферу применения предполагают еще много ступеней.

Более простой пример, чем пример палки, сделает этот процесс доступнее для понимания. Подтягивание к себе предмета при помощи привязанной к нему веревки доступно некоторым видам животных. Для других веревка не существует; все жесты животного направлены к самому объекту. Восприятие, сосредоточенное только на самом предмете, не может распределяться между его окружением, принадлежностями, особенностями его структуры. Никакая другая связь не может еще полезно включаться между предметом и тем желательноавтоматическим комплексом, который вызывается им. В противоположном случае расстояние между животным и предметом является тем путем, детали и структура

которого ощутимы и который устанавливает потенциальную связь предмета с животным, становящуюся реальной при виде веревки. Если животное им пользуется, то это значит, что оно умеет окружить мотив, мобилизующий его деятельность, более широким и, в особенности, более дифференцированным перцептивным полем.

Пользование палкой труднее, потому что она не прикреплена к месту, как веревка. Ее не видно, ее надо вообразить между жестами животного и добычей. Это различие имеет весьма большое значение. Вследствие некоторого церебрального повреждения человек может утратить способность помещать предмет в нужное положение и даже по очень простому образцу, в то время как он вполне способен различать положения, в которых уже находятся предметы. Между этими двумя способностями существует порог. Повидимому, данный порог перешагнули только высшие антропоиды. Однако для того, чтобы использовать палку, ее необходимо включить в тот же самый акт восприятия, в какой включена и добыча. Если палка помещена сзади животного или возле него, то она не может охватываться в одном и том же зрительном ансамбле, она окончательно останется вне его попыток завладеть предметом. Таким образом, палка не является орудием, пользование которым известно. Она получает свое значение инструмента только из поля восприятия, куда она включается. Это поле, несомненно, менее инертно, чем поле веревки. Оно представляется для жестов животного, как нечто более или менее изменяющееся. Жестам свойственно включать между собой и предметом посредника, которого там еще нет. В действительности поле восприятия является по существу полем действия; а действие в зависимости от своего уровня обладает большей или меньшей способностью различать или перемещать его структуры. Действие включает в поле восприятия более или менее многочисленные, различные или благоприятные обстоятельства. Оно распределяет поле восприятия применительно к своим потребностям и, таким образом, приводит к более или менее быстрому и удовлетворительному решению. Все, что объединяет действие, одновременно сливается в нем в присущее ему единство. Оно действует как констеллятивная сила, каждый элемент которой имеет смысл только в ситуации, созданной действием. Включаясь в траекторию движений

по направлению к предмету, палка становится инструментом, но индивидуально она раньше не являлась им. Веревка также используется для подтягивания предмета только в той мере, в какой она включалась вместе с ним в своего рода единство восприятия, создавшее для них как бы непрерывность в пространстве.

Как бы ни были инструменты смешаны с жестами и целью, животное, повидимому, действительно сводит их взаимную связь к простым контактам или только к смежности. Для него механические отношения являются только геометрическими отношениями, и весьма грубыми, неполными и диссоциированными. Достаточно того, чтобы веревка касалась предмета, не будучи к нему прикреплена, или даже, чтобы ее конец, противоположный тому, за который животное хватается, не был бы слишком удален от предмета, и оно тянет за нее и кажется разочарованным, что веревка движется одна. Поняв, что ни одна из двух палок, которыми располагает животное, не является достаточно длинной, чтобы заполнить расстояние между предметом и его вытянутой рукой, оно подталкивает одну палку к другой до тех пор, пока ею коснется предмета, как будто оно смогло таким образом подтянуть предмет. Заметив, что палки должны соприкасаться концами, животное держит их в руке так, что их длина равняется длине интервала. Но сначала животное не представляет себе, что таким образом невозможно заменить одну длину другой, как будто оно было неспособно предполагать их в одном пространстве. В действительности же это не является конструктивной неспособностью. Животному прекрасно удается сунуть в полый конец бамбука более узкий конец другой бамбуковой палки и создать таким образом одну палку. Но собственная причастность животного к предметам, с которыми оно манипулирует в пространстве, смущает его, оно не умеет в достаточной степени растворить ее в объективном пространстве предметов. Это субъективное и моторное пространство животного, которое оно не умеет включать в пространство, где предметы имеют свои расстояния и свои взаимные положения, как это имеет место в одинаковой для всех и безличной среде.

Если добыча находится слишком высоко, шимпанзе также в состоянии обнаружить то, что, поднявшись на стул или на два поставленных друг на друга ящика, она

может сократить расстояние соразмерно своим прыжкам. Но и здесь введение ящика в ее поле действия требует, чтобы он был бы не далек от цели, и вне того, что может охватываться актом восприятия. Здесь опять же субъективное пространство берет верх, ибо ящик не придвинут как можно ближе под предмет, но расположен так, чтобы компенсировать то пространство, на которое животное уже не способно прыгнуть. Также случается, что животное держит ящик под целью, но не ставит его, чтобы подняться наверх; точно так же оно сжимает в руке две палки, соприкасающиеся концами, не зная, как ими коснуться предмета. Наконец механические отношения или отношения равновесия и даже геометрические отношения здесь еще ускользают от животного. Если ему нужно поставить один ящик на другой, то оно делает это так плохо, что они опрокидываются, едва животное успеет вскарабкаться на них. Кажется, что у него нет никакого ясного представления о краях и поверхностях, о цельности и пустотах. Вместо того чтобы поставить ящики плашмя, оно часто ставит их на угол. Тот ящик, который должен служить нижней частью или трамплином, иногда поставлен отверстием наружу. Следовательно, животное не различает структуры их объема и формы.

Этот факт является общим. Сама палка вне той роли, которую ее заставляет играть ситуация, весьма плохо отождествляется со своими существенными свойствами. Действительно, с одной стороны, палка при случае заменяется предметами, имеющими с ней только очень приблизительное сходство по вытянутости, например пучок соломы, край шляпы и даже миска. Хотя жест вызван и образован палкой, кажется, что он растворил ее, а затем ищет для себя любой предмет, чтобы повториться. С другой стороны, животное не узнает палку, если она относится к уже образованному целому. Шимпанзе не приходит мысль оторваться от ящика или воспользоваться веткой от ствола клещевины, которая уже со всех своих сторон обтесана. Животное хватает ствол целиком, хотя он слишком толст, чтобы пройти сквозь решетку.

Зато, схватив палку, обезьяна использует ее самым различным образом: расширяет отверстия решетки; вводит палку через щель крышки в чан нечистот и затем облизывает ее; поднимает крышку, превращая ее в рычаг; покрывает ее слюной, чтобы ловить муравьев и

подносить их ко рту; очищает себе ноги от экскрементов, по которым она ходила; касается ящерицы, изображая испуг; дразнит курицу; потрясает ею, как боевым оружием; пользуется ею, как кочергой; прикасается ею к наэлектризованной металлической корзине, в которой находятся фрукты; употребляет ее как орудие для рытья земли, помогая себе зубами, затылком или ногой. Столь разнообразные эффекты превращают ее в настоящую магическую палку, а не в орудие. Эффекты зависят больше от обстоятельств, чем от свойств самой палки; они случайные и зачастую странные. Наоборот, пользование орудием строго зависит от его обработки; оно отвечает упражнению способности, которая ликвидирована агнозией. Только у человека использование орудия нашло свое историческое развитие.

В некоторых случаях, правда, проявляется и более тесное соответствие между предметом и его использованием. Наличие соломы или виноградной лозы побуждает обезьяну обвить их вокруг своего тела, сделать из них гнездо, даже если она совсем молодая и не имеет опыта жизни в лесу. Является ли это возрождением привычек предков? Обезьяна любит цеплять себе на спину, на руки, на ноги листья, тряпки, брать в зубы жестяные коробки; щеголять и танцевать с этими предметами, бряцание и болтание которыми еще более чем оптический эффект, представляет собой для нее источник радости, будучи простым сопровождением и стимулом ее телодвигательной экзальтации. Обезьяна пачкает краской, которую она обнаружила в банке, все то, что ее окружает. Но она начала с того, что взяла краску в рот; так как вкус краски ей не понравился, она вытерла губы о находящиеся с ней рядом предметы; тогда, увидев, что образовалось пятно, она подняла руки к лицу для того, чтобы размазать краску. В этом нет ничего, что выходило бы за пределы закона эффекта [1]; это еще все-таки далеко от формальных действий ребенка, который обнаруживает валик, систематически поворачивая ручку двери; находит шарниры, открывая и закрывая створку двери; видит скользящую часть механизма, вытаскивая и выталкивая выдвижной ящик; отыскивает чехол, воссоздавая точно

[1] V. H. W. L'évolution psychologique de l'Enfant, A. Colin II[e] P., Ch. 1.

содержимое шкатулки и баула, примеривая на себе или на другом перчатку или ботинок.

Деятельность, на которую способно животное, направлена не на познание, а на ощутимый или полезный результат; она обращена не к общему, а к частному случаю. Эта деятельность не учитывает всей структуры предмета, а только то средство, в котором животное нуждается в данный момент. Мало того, в его поведение включится только жест; соответствующий ему предмет забывается, так как подлинное его строение настолько мало известно, что часто даже является препятствием к акту, хотя и вызывает его в представлении. Между первым использованием ящика обезьяной для достижения своей цели и повторением решения этой задачи проходит 19 дней. Но в промежутке обезьяна, заметив, однако, что ящик находится довольно близко от добычи и что малейшее его перемещение дает возможность им воспользоваться, ограничивается тем, что грубо толкает его несколько раз, словно говоря: «надо что-то сделать с этим ящиком, но что?» Перед ящиком, в котором содержится банан, но перевернутым отверстием к земле, животное задумывается, не имея понятия о том, как его повернуть. Однако заметив же рядом клетку, поставленную прямо, животное входит в нее. Как бы остановленная иным расположением данного предмета, которое тем не менее изменяется, обезьяна довольствуется в известной степени аналогичным актом. Точно так же, если животному не удается достаточно раскрутить веревку, привязанную к трапеции, чтобы раскачаться и схватить добычу, оно совершает, однако, это символическое движение раскачивания и на слишком короткой веревке.

Для шимпанзе мир является скорее действием и движением, чем предметной интуицией. Обезьяна чувствует себя в нем движущимся телом среди других движущихся тел. Например, гораздо чаще приходится наблюдать, что обезьяна прыгает на перекладину именно в тот момент, когда корзина с фруктами, привязанная к концу веревки, приближается к ней настолько, чтобы она могла ее схватить, чем наблюдать, что обезьяна догадывается переместить хотя бы и легкий предмет, отделяющий ее от добычи. Действительно, кажется, что обезьяна воспринимает вещи только в их динамической форме и в сочетании со своей собственной деятельностью. Образ их

статической и постоянной реальности предполагал бы способность свести их к определенным и согласованным чертам, то есть диссоциированным и индивидуальным. А у обезьяны нет даже понятия о статическом равновесии, у нее нет чувства вертикального, и это проявляется, когда она должна поставить один ящик на другой. Она не умеет еще отличать предметы в пространстве от предметов во времени, то есть от предметов, находящихся в известный момент неподвижно в своем положении, в своей форме, от тех движений и изменений, которые могут вноситься в них.

Однако обезьяна опережает другие виды животных благодаря своей динамической интуиции пространства, являющейся чем-то положительным и имеющей весьма различные уровни. Ее способность использовать в качестве орудий те предметы, которые могут встретиться в ее зрительно-моторном поле, смешивается со способностью осуществлять соединения, *структуры*, со способностью организовывать это соединение пространства, вещей и жестов, то есть конкретные пространства в зависимости от тех целей, к которым она стремится в своем желании. Использование обхода также доказывает это. Первичное движение заключается в том, чтобы подтянуть к себе добычу кратчайшим путем. Прямая линия, проходящая в этом случае между животным и предметом, может представляться животному настолько исключительной, что оно совершает массу бесполезных движений схватить добычу, пока не дойдет до изнеможения. Но животное может так же, как это удается шимпанзе, представить себе не прямой путь. Типичный опыт заключается в том, что желанный плод помещают в выдвижной ящик, открытая сторона которого расположена по другую сторону от животного, находящегося в клетке. Прежде чем подтянуть плод к себе, нужно, следовательно, сначала отодвинуть данный ящик, а затем поставить его на бок. Это предполагает способность уловить в одновременной интуиции и те положения, которые последовательно должен принять ящик, и проконтролировать последовательность реальных перемещений в соответствии с данной идеальной траекторией. Опыт показывает, что животному это часто не удается и что операция обходного движения иногда нарушается из-за стремления животного прямо подтянуть к себе предмет.

Согласно Гильому и Мейерсону, динамическая интуиция пространства у шимпанзе аналогична интуиции, требующейся при игре в бильярд. Однако различие между ними весьма значительно. В интуиции животного интуиция его собственного движущегося тела по существу обнаруживается во время всего действия. А в том рассчитанном ударе, который передает бильярдному шару способность вызвать заранее намеченное перемещение, динамическая схема, мотивирующая жест, отождествилась посредством переноса с бильярдным полем. Даже когда животное должно заставить предмет преодолеть какие-то препятствия, жест его все время сообразуется только с результатом. Между актом соприкосновения с видимой границей, которая временно противопоставляется сближению предмета, и актом воображения в качестве возможного зрителя последовательности путей в поле передаваемых толчков и движений интервал является значительным. Изменение уровня или скорее плана, впрочем, еще более существенно тогда, когда интуиция отношений в пространстве не прекращается с жестом, но отделяется от него для того, чтобы стать геометрическим или механическим познанием, то есть системой отношений и движений, чуждой тому, кто воображает и изучает их.

Келер стремился особенно подчеркнуть, что удача животного, завладевшего добычей, не является результатом последовательных исправлений и деталей, которые складываются, как это можно было бы думать, исходя из метода проб и ошибок, и что каждая такая удача выступает в качестве неразложимой констелляции, каждый элемент которой имеет смысл и право на существование только по отношению к целому. Решение приходит внезапно и полностью в своей оригинальной структуре, причем предыдущие попытки не предвещали его. Между субъектом и предметом желаемого присвоения должно возникнуть силовое поле, возможные конфигурации которого зависят одновременно от случайностей, присущих внешнему полю, и от таких циклов, какие могут обнаружиться в поле нервных сцеплений. От этого последнего и зависят различия интеллектуального уровня между видами животных и особями одного и того же вида. Оба поля, существенно дополняющие друг друга, не различаются иначе, как при анализе их относительных условий. Эффекты, возникающие в них, указывают на их

тесное слияние. Впрочем, чем теснее это слияние, тем более определенными, более специфическими являются структуры, которые могут там выступать. Данные структуры не имеют ничего общего с теми нащупываниями, которые приводят к результату посредством тонкого и постоянного коррегирования.

Большой заслугой представителей этой концепции является то, что они порывают с предварительным расчленением реальности на элементы или на сущности, которые зачастую рассматриваются как более реальные, чем сам опыт и новые сочетания, представляющие собой проблему, подменяющую истинные проблемы. Но она превратилась в застывшую систему, искажающую реальность. Представители этой концепции, исходя из изобретательных опытов над зрительным восприятием, которые показывали, как смысл рисунка может внезапно измениться в результате незначительных изменений в деталях его штрихов или, наоборот, как он может сохранить то же значение, несмотря на значительные изменения, распространяли ее на интерпретацию, с одной стороны, неорганического мира и, с другой — видов поведения в органическом мире. Они ввели в интерпретацию понятие совокупностей, или структур, которые обязаны только самим себе, различаются друг от друга и которые можно сравнить с платоновскими идеями. Во всяком случае, промежуток между этими совокупностями является нейтральным и нереальным.

Эта психология, противопоставляемая психологии проб и ошибок, является психологией, в которой учитываются одни успехи проб, довольствуются только этим. Предшествующие пробы не имеют ничего общего с успехами; пробы, не приводящие к успеху, считаются как бы несуществующими. Напротив, простое наблюдение показывает, что пробы преобразуются и что, таким образом, каждая из них способствует видоизменению поведения субъекта и подводит его к моменту решения. Несомненно, что может не быть никакого очевидного сходства ни между пробами, ни между конечными результатами. Но в неорганическом мире также происходят неожиданные изменения равновесия, а в биологическом мире — мутации, не похожие на эти изменения, не следующие друг за другом без причины, которой являются предшествующие состояния, и заменяющие дан-

ные изменения тогда, когда метаморфоза становится неизбежной в результате достаточного накопления обстоятельств. Количество превращается в качество. Здесь пробы, даже безрезультатные, имеют только отрицательное значение. Через посредство проб продолжается острая фаза акта, фаза, в которой неудача осложняет конфликт между потребностью, желанием, аффективной или жизненной необходимостью и препятствием; отсюда переделка, ликвидация привычных реакций и прежних структур, перегруппировка в новые структуры тех факторов и обстоятельств, которые сталкиваются в поле действия и которые оно способно активизировать путем большего отбора.

Теория «формы», или «гештальт», главным создателем которой является Келер, выдвигает на первый план изобретательность в качестве первоначального и творческого акта, но она возводит ее в абсолют, чудо или предопределение, изолированное от жизни, от психического становления и больше не находящее в них своего объяснения. Желая доказать, что она не сводится к плюрализму индивидуализированных элементов, сочетающихся или исключающих друг друга якобы механическим образом, преодолевая данное различие между субъектом и объектом, различие, являющееся в действительности не первичным дуализмом, а постепенным раздвоением, эта теория приводит к систематическому игнорированию самую эволюцию, представляющую собой ряд последовательно преодоленных трудностей или конфликтов. Проба и успех, ошибка и открытие, усилие и реализация тесно и необходимо связаны между собой. Игнорировать одно — значит совершенно лишить точки опоры другое. Если возникает противоречие, его нужно разрешить. Уклониться от его разрешения — значит поступить прямо противоположно. Одна из уловок заключается в том, что уподобляют один термин другому, как это было перед этим, другая — в том, что исключают один из них, как делается здесь.

* * *

Над ребенком также провели опыты, подобные опытам над шимпанзе. Бюлер даже назвал возраст в 1 год, когда ребенок способен разрешить те же задачи, что и обезьяна, возрастом шимпанзе. Однако это сравнение не

точно. Годовалый ребенок не может соперничать с обезьяной, так как в практическом интеллекте обезьяны гораздо больше моторной ловкости, чем у него. Между тем постепенно усложняющиеся опыты дали возможность Андрэ Рею[1] проследить за развитием этого интеллекта у ребенка вплоть до 14—15 лет. Но в промежутке между обезьяной и ребенком происходит резкое изменение уровня, а именно, когда ребенок начинает говорить. Однако вначале кажется, что это изменение не всегда в пользу ребенка.

Синхронизм между появлением речи и дифференциацией в поведении обезьяны и ребенка выдвигает проблему причинности. Разве она видоизменяется под прямым влиянием речи? Действия человека подчеркиваются словесными или умственными приказами, которые всегда регулируют последовательность его фаз и приемов. У ребенка эти приказания, ставшие зачастую внутренними, эллиптическими, подразумеваемые у взрослого, еще выражаются в виде «словесной формулировки».

Если бы механизм, производящий трансформацию, был таков, практический интеллект из интуитивного превратился бы в дискурсивный. Он упражнялся бы при помощи поступательного связывания аргументов. Разумеется, невозможно, чтобы речь, став одной из способностей ребенка, не проникла бы в различные области его деятельности. Но в этом ли заключается сущность изменения и происходит ли настоящее и полное превращение ситуативного интеллекта?

Несомненно, настоящее место речи в вариациях поведения наглядно выявляется при сравнении тех, кто утрачивает ее, и с теми, кто овладевает ею. У афатиков также наблюдается изменение их практических способностей и, в частности, некоторый регресс способности ощущать и использовать пространственные отношения. Хед считал, что это приводит к исчезновению внутренней речи. Например, стоя лицом к экспериментатору, афатик не может одновременно с ним поднять правую руку, а поднимает левую. Но если экспериментатор стоит за ним, и оба они находятся перед зеркалом, он правильно выполняет то, что видит. Это происходит, потому что афатик не может больше сказать себе «правая» или

---

[1] A. R. L'intelligence pratique chez l'enfant, Paris, Alcan, 1935.

«левая». Но опыты ван Веркома (van Woerkom) с афатиком также показывают, что расстройство значительно глубже. Оно распространяется на все те случаи, когда субъект должен не только узнавать положения, занимаемые предметами в данный момент, и наслаивать на них другие, но и пытаться реализовать какое-то положение в пустом пространстве. Например, афатик не положит спичку симметрично другой, уже лежащей на месте, ни параллельно, ни даже на некотором расстоянии. Но он всегда стремится поместить предмет на или против уже помещенного предмета и не помещать его в пустом пространстве, а подвинуть его к краю поверхности. Ван Верком также выявил у афатика подобные нарушения в способности воспроизводить ритмы.

В этом, несомненно, заключается связь между речью и пространственной интуицией[1]. Как и ритм, речь должна детализироваться во времени. Но эта упорядоченная последовательность предполагает первоначальную одновременность, общую интуицию частей, которая впоследствии распределяется известным образом в длительности и уже занимает известное взаимное положение. Само собой разумеется, что эти положения — чисто идеальные и предполагают сублимированное психическое пространство. Это пространство, отличное от конкретного пространства, сливающегося с тем, что в данный момент занимает поле восприятия, представляет собой ту среду, на фоне которой должны выступать, представляться те положения и траектории, которые еще следует реализовать. Изменение в пространственном расположении вещей, не являющееся эффективным и непосредственным данным восприятия, выходит за рамки представления всякий раз, когда нет интуиции пространства, превосходящей то, что имеется, интуиции потенциального пространства.

Таким образом, можно истолковать замечания Бутана (который первый отмечает этот факт) о сравнительном поведении гиббона и ребенка до и после возраста речи. Если им предстоит выбрать среди ряда коробок ту, в которой находятся сласти, то оба быстро приобретают первый опыт безошибочного выбора. Но если коробки поставлены в другом порядке, то мартышка и ребенок, не

[1] См. часть третью данной работы.

владеющие речью, совершенно теряются, делают только попытки наугад, и предыдущий опыт еще более затрудняет новый опыт. Тогда как, наоборот, для ребенка, владеющего речью, нет необходимости в большом количестве опытов, чтобы проследить за перемещением коробки, если они соответствуют правильному порядку. Разве не очевидно, что этим он обязан своей способности мысленно наметить траекторию последовательных положений, занимаемых коробкой. Словесное выражение этих положений намного превосходило бы его лингвистические возможности в этом возрасте. Следовательно, дело идет здесь о самой элементарной операции, еще более близкой к действию, прямо связанному с предметами, но которая обладает некоторыми условиями, общими с речью.

До 1 года акты ребенка, повидимому, не обгоняют психологическую мотивацию эффекта, восприятие их собственного результата ведет к их воспроизведению постольку, поскольку любопытство или какой-либо интерес связывается с этим результатом. Так, например, в возрасте около 1 года ребенок роняет или кидает предметы исключительно для того, чтобы видеть и слышать, как они падают, или для того, чтобы их подобрали; он повторяет жест, от которого предмет, находящийся у него в руках, звенит от удара о другой предмет. В этом возрасте появляется уменье владеть или употреблять предметы, сообразно некоторым деталям структуры. Он пытается засунуть тетрадь в обложку, преодолевая трудность, заключающуюся в том, чтобы комкать их (1 год)[1]. Ребенок пытается ввести в замок найденные им ключи. Он перелистывает книгу; выдвигает и задвигает выдвижной ящик в направляющих пазах. Он использует всевозможные предметы в виде украшения. Немного позже ребенок уже умеет соединять с предметом те употребления, которые он обнаружил при определенных обстоятельствах. Он использует маленькую коляску не только как сиденье, но и как скамейку, и если у него нет коляски,

[1] Примеры у Винча. Примечание автора: следуя обычно принятому обозначению, возраст ребенка отмечается следующим образом: цифра, за которой следует точка с запятой, указывает на число лет, следующая цифра — число месяцев, цифра в скобках — число дней.

он переносит ее значение на другие, более или менее аналогичные предметы (1; 7). После насморка ребенок узнает о том, как пользоваться носовым платком; находясь на прогулке, он 30 раз достает платок из своего кармана, делая вид, что он сморкается (1; 10). Предмет также может стать исходной точкой последовательных актов, воспроизводящих более или менее сложные ситуации. В этом случае акт может стать главным образом актом подражания или привычки. Ребенок опрокидывает коробку с пудрой, и вид щетки заставляет его впервые воспроизвести жест подметания без непосредственного подражания (1; 8). Если с его кровати снимают перину, когда ему жарко, он идет за ней и забирается под нее; ему нужно несколько дней, чтобы привыкнуть к перемене (1; 10). Когда у ребенка спрашивают имя и фамилию, он показывает на свой номерок, который он получил несколько дней тому назад (2;). Этот жест становится настоящим стереотипом, сохраняющимся месяцы и годы. Таким образом, уже очень рано источники его деятельности весьма разнообразны. Деятельность ребенка состоит большей частью из повторения, обучения или даже подражания. Но так же, как и в деятельность шимпанзе, в деятельность ребенка входит интеллектуальная выдумка и открытие использования предметов.

Однако можно наблюдать и первое различие, а именно, стремление ребенка просить содействия у взрослого; полем его полезной деятельности является психическая среда; ему нужно много времени, чтобы удовлетворить какую-нибудь свою потребность или желание, если ему не помогают лица, окружающие его. Отмечая, что предмет не доступен для него, но желая его схватить сам, ребенок требует, чтобы его поднесли к предмету или опустили над ним. Поэтому умение использовать стол и стул может прийти позже [1]; это обнаруживается только тогда, когда они находятся достаточно близко к предмету (3; 6). В 4; 10 ребенок еще не имеет представления о том, чтобы поставить стул на ящик, но заменяет одно другим. Пользование скамейкой приводит только к личному пользованию предметами. Кажется, что для ребенка предметы обладают меньшей тенденцией сливаться в единую опору, чем для животного.

---

[1] Примеры Андрэ Рея.

Действительно, второе различие между животным и ребенком заключается в том, что ребенок, повидимому, часто представляет себе орудие прежде, чем он использует его. Он знает, он вспоминает прежде, чем действовать. Сделав напрасные попытки, чтобы показать, что он не может забраться, ребенок заявляет: «Я не могу, я слишком маленький... Нужна лестница... Дома у меня есть лестница» (4;). Образ лестницы мешает ему увидеть, что он в данный момент мог бы воспользоваться стулом вместо лестницы. Точно так же он заявляет после нескольких движений по направлению к предмету: «нужна палка», не видя, что находящийся рядом с ним металлический прут мог бы заменить ее. Представление о некотором орудии как бы скрывает от него те элементы, которыми можно воспользоваться в данной ситуации. Ребенку показывают слишком короткие металлические пруты. Он заменяет один другим, хотя они все одинаковые; впрочем, так же поступает и обезьяна. Ему нужно, чтобы подвинули стул. Но стул оставляют на расстоянии 1 метра от предмета. Он влезает на стул и, направляя прут к слишком далекой цели, рискует упасть. Ему не приходит в голову мысль подвинуть стул к предмету (4; 3). Следовательно, для него, так же, как и для обезьяны, еще не организуется поле восприятия, способное согласовать дистанцию трамплина с размером его прыжка. Другой ребенок с 4; 7 проявляет еще более очевидную неспособность в пользовании окружающими его средствами. Так как он продолжает делать бесполезные усилия, то приходится указать ему на палку, которая находится возле него. Не в состоянии достичь цели, он двигает стул к предмету. Но стул слишком низок. Тогда он сожалеет, что у него нет классной скамьи, которая, однако, еще ниже. Все время его преследует образ некоторого предмета, даже и правильно примененного. Начиная с 5; решение задачи удается, но постепенно. Ребенок может иметь понятие о том, как наслаиваются ступеньки; это конструктивный метод. Он может попытаться заменить низкий стул более высоким; это направленная замена. Наконец, случается так, что ребенок понимает, что надо сразу же пойти за стулом, но он без разбора заменяет низкие стулья более высокими.

Действительно, ошибочное представление о размерах весьма стойко держится у ребенка. В 5; он еще не умеет

сравнивать размеры тогда, когда изменяется предмет. Величина находится еще в своей прекатегориальной фазе[1]. Величина сливается с формой и с совокупностью тех качеств, которые составляют воспринимаемый предмет. Так, пытаясь найти скамейку, с помощью которой он мог бы достичь цели, ребенок заменяет стол в 0 м. 50 стулом в 0 м. 45, а стол в 0 м. 60 — доской в 1 м. 70. Кажется, что здесь еще имеет место конфликт между оптической длиной и полезной длиной, между высотой и объемом, между размерами и формой. В то время как животное включает в свои жесты посредников подходящей величины и не останавливается перед природой самих предметов, ребенок принимает одни свойства предметов за другие, пока не научится пользоваться каждым как средством классифицировать и сравнивать между собой предметы с этой специальной точки зрения.

Важно отметить еще и другое заблуждение. Заметив, что палка слишком коротка, обезьяна берет иногда две и держит их за концы, и поэтому она не может использовать их общую длину для того, чтобы достать предмет. Простая оптическая длина заменяет длину, совпадающую с расстоянием. Ребенок же, кажется, поступает еще более наивно. Случается, что ребенок (4;1) держит две палки вертикально. В другом опыте, где нужно выловить из банки предмет, снабженный крючком, ребенок также, вместо того, чтобы связать слишком короткие нитки, просто сближает их. Другой ребенок держит палку в каждой руке и совершает усилие обеими руками, отчего длина целого никоим образом не увеличивается. Он просто осознает, что необходимо множество предметов, — одной палки или одной нитки недостаточно: оптическую иллюзию заменяет числовая иллюзия. Результат кажется еще менее удовлетворительным, но причиной его является появление понятия числа, которое добавляет к простым сенсорным данным восприятия уже интеллектуальный определитель. Таким образом, кажущийся регресс в эффекте может быть вызван влиянием более высокой психической инстанции.

Сочетания орудий, испробованные ребенком, показывают, что их неудачное применение или колебания при

---

[1] V. H. W. L'Evolution psychologique de l'Enfant. IIIe P. Ch. 4. Collection Armand Colin, 1942.

их применении вызваны неспособностью ребенка представить себе мысленно при помощи тех средств, которыми он располагает, расстояние, которое надо преодолеть. Например, он не может вообразить, что две скамейки, поставленные друг на друга, сделают предмет доступным (4;11 и 5;5). Другой ребенок 5;6, наоборот, ставит немедленно два стула один на другой, а затем, когда надо добавить к ним третий, он спохватывается и пользуется им, чтобы взобраться на сооружение. Здесь мы имеем полное соответствие орудия размерам пространства. В ассоциации палки и стула ребенок от 4;11 пытается сначала прямо схватить предмет, затем применяет стул, который он заменяет более высоким; потом он прибегает к металлическому пруту без стула; тогда ему приходит мысль соединить и стул, и прут. Но стул находится еще слишком далеко; наконец, он достигает цели только тогда, когда использует вместе с прутом высокий стул. Эта мало методичная серия предварительных попыток свидетельствует о явном отсутствии предвидения, а само оно — одновременно о неспособности сочетать в одной пространственной интуиции то, что в данном воспринимаемом пространстве еще не совпадает, а именно, интервал, который надо преодолеть, и то, что позволяет преодолеть его. Наоборот, ребенок в 5;10, учитывая бесполезность своих усилий с металлическим прутом, соединяет их концы, но, так как ему нечем привязать их, он неожиданно замечает стул, ставит его, забирается и достает предмет прутом. У него нет недостатка в приемах, когда они стали соизмеримыми с тем пространством, которое необходимо преодолеть.

В другом опыте обычно достигают успеха к 5; , когда ребенок должен находиться перед ящиком с отверстием, напротив сплошной планки дна и вытащить при помощи палки, через отверстие, расположенное на дне слева, маленькую коробочку, помещенную тоже в выдвижной ящик, открытая сторона которого повернута к сплошной планке, то есть находится с противоположной стороны от ребенка. В этом случае могут чередоваться, противопоставляться или сочетаться три способа действия: 1) ребенок подтягивает прямо к себе коробку, перекидывая ее через ближний от него край выдвижного ящика, но коробка, почти докатываясь до него, задерживается у перегородки ящика, щели которой очень узки; 2) ребенок

перемещается сам и так подходит к отверстию, что может подтянуть коробку прямо к себе; 3) он вытаскивает коробку из выдвижного ящика либо правильно, через открытую стенку, либо перекидывая через край и затем, не изменяя своего положения, толкает ее палкой к отверстию в левой планке. В этой последней операции, соответствующей правильному решению, замечательно то, что коробка не следует обычно по самой короткой траектории, которая позволяет ей преодолеть пустое пространство между выдвижным ящиком и отверстием, но что она подтянута к одной из стенок ящика, чтобы затем продвигаться вдоль этой стенки. Это точно такая же неспособность, какую отмечал и ван Верком у афатика, а именно, неспособность использовать пространство без конкретного содержания или без ощутимых границ.

В другом опыте клетка, где находится предмет, состоит из 2 сплошных прямоугольных стенок и 2 стенок, сделанных в виде решетки. Клетка прямоугольная. Предмет привязан к веревке, один конец которой прикреплен к стержню внутри клетки, а другой пропущен сквозь решетку. Если веревка идет по длинной стороне прямоугольника, предмет нельзя достигнуть; если, наоборот, веревка идет по наименьшей стороне, ребенок может схватить его рукой сквозь решетку. Следовательно, необходимо подтянуть веревку из первого положения во второе. Здесь мы тоже имеем различные способы действия, из которых одни, совершенно ошибочные, являются либо просто случайными отступлениями, либо привычными приемами, но в данном случае совсем недейственными, а другие показывают, как в предшествующих случаях, еще недостаточную способность представлять себе перемещение в пространстве и его последствия. Самые маленькие дети, увидев колебания предмета, когда они дергают за веревку, соблазняются этим эффектом и довольствуются тем, что поддерживают его, или же они поднимают предмет с земли, протянув руку через крышку клетки. Другой раз они пытаются прямо схватить предмет, стараясь просунуть руку между сплошной стенкой и последней перекладиной. Многие дети заглядывают под стол, как при игре в прятки, вероятно, приравнивая искомое решение к какому-либо предмету, скрывающемуся от них. Те, кому приходит мысль изменить интервал между свободным концом веревки, часто делают это

наугад, а некоторые даже следуют по направлению, увеличивающему расстояние от предмета, вместо того, чтобы уменьшать его. Если веревка перемещается независимо от них, они не замечают этого. Наконец те, которые угадывают, в каком направлении нужно действовать, обычно протягивают веревку через каждую перекладину, а некоторые даже, пропустив по недосмотру несколько перекладин, начинают снова. Но даже обнаруженный прием еще не сливается с тем пространством, которое следует преодолеть. Продвижение предмета следует медленно по стенке, вместо того, чтобы представляться как свободная траектория, объединяющая настоящее и желаемое положение предмета. Решение этого опыта бывает не раньше 5 лет. Замечательно, что, согласно Гильому и Мейерсону, у обезьяны это решение приходит почти немедленно в результате ее знакомства с клеткой.

Несомненно, что условия опыта для ребенка и обезьяны значительно изменяются. Совокупность их привычек и сенсорно-моторных способностей, их относительная ловкость и те отношения, которые она определяет, в их непосредственном предвидении действия настолько различны, что объективно похожая ситуация практически не является одной и той же для каждого из них. Но существенное различие между ними заключается прежде всего в том, что пространство для обезьяны — не что иное, как пространство ее жестов, целей. Пространство для ребенка еще не является нейтральной и абстрактной средой, в которой свободно воображаются изменения в положении предметов, но оно уже представляется амальгамой самих предметов, так как одно из их качеств растворяется в других. Затем не может быть представления о предмете, даже чисто конкретного, без этого единства понятия, которое до некоторой степени выходит за пределы его различных свойств. Но понятие, вначале ограниченное тем моментом, в который совершается или представляется каждый акт или каждый предмет, делает их как бы застывшими и не вводит их в серии, где комплекс сравнений, степеней и оттенков дали бы им возможность включаться в отношения, способные безгранично выходить за пределы наличных отношений сенсомоторного опыта. Не будучи еще способным сообщать им эту идеальную подвижность, понятие, с другой стороны, вступает в конфликт с подвижностью актов, возобновление

которых постоянно вызывается внешним миром. Отсюда частое смущение ребенка перед ситуациями, которые легко находят свое разрешение в сенсорно-моторной интуиции шимпанзе. Это противопоставление показывает, что происхождение понятий нельзя искать в схемах тех непосредственных реакций, которые возникают из обстоятельств в любом живом существе в зависимости от его уровня организации. Понятия не являются простой интеллектуальной калькой этих схем [1]. Они относятся к другой системе, эволюция которой связана с существованием человеческого общества.

Глава III

МИФ И РАЗУМ

Это еще одно противоречие, являющееся основным в сравнительном изучении интеллекта, при помощи которого обогащается непосредственное действие в конкретных ситуациях и интеллекта, который выражается, фиксируется, передается в форме мысли. Со всей силой своего замечательного таланта Шарль Блондель в своей посмертной статье [2] дал самое полное определение формы этого противоречия. В истории человечества борются две противоположные системы или, по крайней мере, боролись вплоть до недавнего времени. Первая система является системой экспериментального действия, из которой возникли навыки, знание принципов этих навыков, наука и разум. Вторая система — это система обрядов, мифов, верований и традиционных легенд, которые дают человеку иррациональное представление о происхождении его мира. Первая система должна была мало-помалу вытеснить вторую и заставить ее отступить в той мере, в какой сознание человека все больше отождествляется с физической концепцией вселенной. Она развивается как однородное и замкнутое целое за счет тех иллюзий, которые человек создавал себе при помощи церемоний, рассказов, учреждений, религиозных и социальных

---

[1] См. предыдущую главу.

[2] Ch. B. Intelligence et techniques. Journal de Psych., juillet—déc., 1938.

представлений. Переход от практического интеллекта к научному будет непосредственным. Путем прогрессивной операции калькирования на чувствительную пластинку психомоторного организма порядок вещей представляется уму человека обязательным. Есть опыт в себе; его законы являются законами любой нормальной мысли. Так сталкиваются два принципа, между которыми существуют только другие, исключающие друг друга отношения.

В этюдах Леви-Брюля о психике первобытного человека, которые Шарль Блондель часто цитирует и комментирует, выясняется прямой источник этого манихеизма разума и мифов. Основной принцип, на который ссылался Леви-Брюль, заключается в том, чтобы *априорно* исключить любую попытку интерпретировать при помощи наших собственных идей идеи, выдвинутые другими цивилизациями. Не желая распространять наш образ мышления на данные цивилизации, мы прежде всего должны рассматривать их как внешние и чуждые нам, если не хотим пойти на риск исказить их значение. Раз это возможно, то для понимания цивилизаций мы должны использовать только объективные обстоятельства, связанные с ними. Основное заключается в том, чтобы воспринять данные обстоятельства в том виде, как они показаны системой собственных проявлений и последствий. Выйти за пределы того, что эта система дает возможность утверждать о них, — это значит впасть в иллюзию антропоморфических объяснений.

С этим методологическим принципом связан постулат основного различия между нашим образом мыслить и тем, который Леви-Брюль ради большего удобства изложения назвал *первобытным*, хотя соответствующие институты уже имели уровень организации, предполагающий длительную социальную, интеллектуальную и моральную эволюцию. Нашему интеллектуальному миру, основанному на анализе реальности при помощи четко определенных понятий, он противопоставил мир, в котором все существующее подчиняется мифам, как силам, объясняющим мир и дающим возможность существовать ему. Потребности нашего ума связывать заключение с теми посылками, в которых оно содержится, Леви-Брюль противопоставил *дологическое* мышление, ограничивающееся отношениями между терминами, не имеющими

общего критерия, и сочетания которых несводимы к самым общим и самым, казалось бы, необходимым границам, в каких могут быть распределены предметы. Событию, причина которого приписывается связям обстоятельств, проявляющих через опыт свою эффективность и необходимость, он противопоставляет веру в магические или мистические действия, когда эффект можно вызвать более или менее произвольно при помощи заклинаний и призраков. Чтобы понять это расхождение между двумя формами мысли, относящимся к двум различным этапам человеческой цивилизации, Леви-Брюль, наконец, противопоставил интеллектуальным категориям, которые в своей основе соответствуют природе вещей и течению событий, аффективную категорию, откуда возникают вера и призыв к сверхъестественным силам. Эти силы, как кажется первобытному человеку, постоянно вмешиваются в действия, направляют и изменяют те действия, которые ставят в рискованное положение его поведение и жизнь.

В индивидуальном плане эта концепция весьма сходна с концепцией Пиаже[1], который рассуждения ребенка диаметрально противопоставляет рассуждениям взрослого. Здесь мы также имеем контраст между мыслью, которая постоянно соединяет реальное с желаемым, логические обязательные или экспериментальные связи с пережитым случаем, со случайным эпизодом, объективный порядок внутренних склонностей с чувством, привычками, индивидуальными становлениями. Это то, что Пиаже стремится объяснить *эгоцентризмом*, хотя «я» ребенка либо скорее находится в неоформившемся состоянии, чем является основой, либо рассеяно в его впечатлениях, отчуждено от других людей и тех ситуаций, через которые ребенок последовательно проходит, не умея ни приспособиться к ним, ни прикрепиться к ним, как к чему-то изменяющемуся и различному, постоянно и в данный момент. Период нераздельного участия вместе с итогом его опытов предшествует периоду, в который он становится способным утвердить свою личность, противопоставляя тому, что не является ею, людям или предметам и затем сделать из нее центр своих притязаний к окружающей реальности.

---

[1] J. P. La représentation du Monde chez l'enfant. Paris, Alcan, 1926.

Сталкиваясь с различными и противоположными точками зрения других и вынужденный считаться с ними, Пиаже тем не менее стремится вывести из эгоцентризма эволюцию детской мысли, подвести ее к стадии взрослого. Это развитие связано с развитием общительности. В тот день, когда он почувствует существование тех, кто его окружает, ребенок научится выходить из своего психического одиночества, чтобы представить себе отношения взаимности и почерпнуть из этой взаимности между людьми понятие о нейтральных и объективных отношениях между вещами. Однако, несомненно, что надо изменить порядок факторов. Ребенок начинает тесно общаться с людьми, которые окружают его, потому что он начинает находиться в строгой зависимости от них. Так как ребенок может существовать только благодаря людям, то нет никакой потребности, желания, удовлетворения которых он может добиться иначе, как через их посредничество и ходатайство; именно к ним должны обращаться и с ними сообразовываться все его интуитивные способности. Он проникается этим человеческим окружением при каждом новом пробуждении сознания. Для него необходимо сокращение общительности, а не развитие ее. Он должен научиться владеть собой при своих отношениях с другими. Это разграничение не определяет интеллектуальное развитие, а может быть только его результатом. Для того чтобы отделить в опытах, которые производятся над субъектом, то, что является его, от того, что зависит от внешних влияний, нужна не аффективная, а интеллектуальная способность дифференциации, критики и анализа. В каждом возрасте общительность принимает такую форму, какую уровень психической организации определяет или делает возможной; общительности не свойственно регулировать те отношения, которые ум устанавливает между предметами.

Если созревание психической системы для индивидуума является условием переходного периода, через который ему следует пройти от детского интеллекта к интеллекту взрослого, то как в истории цивилизаций могло разрешаться предполагаемое противоречие между практическим интеллектом и идеологическими системами, наблюдаемыми нами в первых человеческих обществах? Как для Шарля Блонделя, так и для Леви-Брюля воздействие на предметы — источник опыта, из которого

должно возникнуть в процессе поступательного развития все здание рационального познания и науки. В противоположность этому мифы, мистические и магические обряды должны отвечать тому представлению, которое общество создает о самом себе, о своем происхождении, своей организации, своей судьбе. Согласно Пиаже, интеллектуальная социализация ребенка должна сделать его мысль объективной. По Леви-Брюлю и Блонделю, наоборот, влияние коллективных или социальных представлений должно разделить мысль первобытного человека на дологическую и экспериментальную. Леви-Брюль не объясняет, как одно сводится к другому. И действительно, это не входило в его задачу. Леви-Брюль стремился главным образом к тому, чтобы показать, что два данных типа мысли несовместимы; один из них он рассматривал как строго рациональный, а другой считал чисто мистическим. Эти типы он рассматривал статически и не заботился о промежуточных этапах, на которых можно было бы показать, какие элементы поддаются преобразованию и способ их преобразования.

У Шарля Блонделя данная проблема значительно усложняется, потому что он, наоборот, стремится отличить то, что служит источником объективного познания, от того, что ему противоположно. Несомненно, что он сам чувствует остроту этого противоречия. Разве он не писал, что разум является великолепным даром, который человек получил от общества? Но тем не менее Шарль Блондель приходит к тому, что противопоставляет специфически социальную идеологию самых примитивных цивилизаций, доступных нам, развитию экспериментальных и научных знаний, стремящихся к разуму как к своей границе. Для разрешения данного противоречия не полезнее ли считать, как здесь, термины несводимыми, или же ассимилировать их между собой, или так исключать один из них, как это было показано выше.

* * *

Условия, необходимые для развития мысли, выводятся из сравнения между интеллектом ребенка и интеллектом первобытного человека не потому, что причины недостаточности являются одинаковыми, а потому, что они противоположны. То сходство, которое много раз отмечалось

между их представлениями о вещах, в действительности является парадоксом. На каждую эпоху приходится определенная часть знаний, дающих возможность обеспечить соответствие индивидуума как с социальной, так и с физической реальностью его времени. Ребенка нельзя рассматривать отдельно от среды, в которой происходит его рост и которая окружает его с самого рождения. Мир, к которому ребенок должен приспособиться, с которым он сообразует свою деятельность и свои впечатления, не является своего рода миром в себе, вечным и неизменным. Этот мир — совокупность предметов, свойственных эпохе: его колыбель, соска, пеленки, огонь, искусственный свет. Позже — это мебель, структурами которой он манипулирует, орудия, при помощи которых он приобретает свои привычки и учится действовать предметами. Затем те учреждения, в которые включается его жизнь, а также навыки речи, объяснения, понимания, регулирующие его мысли, заставляя их в познавательных или логических рамках выделить силы и предметы, наполняющие мир и предоставленные сегодня в его распоряжение тысячелетиями цивилизации, материальной и духовной работы.

Таким образом, если считать, что деятельность ребенка в своих мотивах и способах определяется его действительным окружением, то как же он может быть в то же время неким первобытным человеком? И с другой стороны, если системы верований, наблюдаемые нами у первобытного человека, представляют собой результат уже весьма тщательной работы и находятся в соответствии с системами жизни и общества, являющиеся отражением его представления о природе, то как можно обнаружить у ребенка, окружению которого неизвестны никакие обряды и призраки, эти системы верований? Придется остановиться на одной из 3 следующих гипотез.

Этапы, которые прошла мысль от первобытного человека до нас, — это история, вписанная в субстанцию вида таким образом, что каждый индивидуум должен сам повторить ее, хотя и ускоренным темпом. Это известное положение о соответствии онтогенеза и филогенеза, осложненное тем, что оно должно распространяться не только на морфологию организма, но и на идеологические системы, что оно должно предполагать наследственность приобретенных признаков и среди этих признаков наследственность таких, которые, казалось бы, наименее

связаны с анатомическими структурами. Это значит отождествлять функцию с отдельным предметом и отдельным содержанием, например допустить, что наследственность речи не ограничивается способностью выучить язык, каким бы он ни был, а развивается из всех тех языков, на которых говорили предки. Факты полностью опровергают подобное предположение. Тем не менее такие авторы, как Фрейд, верят в оживление в каждом человеке тех впечатлений, которые были оставлены давно прошедшими стадиями цивилизации и даже теми, которые предшествовали ей. Другие, подобно Юнгу, отождествляют то, что он называет *палеопсихическим*, с бессознательным, что должно соответствовать верованиям и древнейшим стремлениям человечества. Такова концепция, биологический субстрат которой трудно себе представить.

Тогда можно было бы предположить, что это сама система наших идей, стадии которой так тесно связаны, что каждая стадия становится возможной только после предшествующей в зависимости от необходимой филлиации. Логикой этого развития перекрывается действие той среды, которая окружает ребенка. Интеллектуальный рост ребенка долгое время противопоставлял бы словесному, техническому, идеологическому материалу его окружения глубоко ему чуждый образ мыслить. Таким образом, было бы несоответствие между последовательными этапами его развития и теми единственными орудиями интеллектуальной деятельности, которыми он располагает. Кажется, ничто не подтверждает подобную гипотезу. Наоборот, примеры показывают, что влияние среды может быть весьма непосредственным в том смысле, что внезапно заменяет от одного поколения к другому или у перемещенного молодого индивидуума одну систему архаических идей другой системой, место которой в развитии цивилизации значительно более позднее.

Следовательно, остается рассмотреть аналогии между способами мыслить у ребенка и у первобытного человека как простое совпадение, а не как настоящий параллелизм. Впрочем, причины этой аналогии более интересны только для анализа. В общем, можно было бы сказать, что проявления мысли предполагают материал, соответствующий словесным выражениям, интеллектуальным представлениям, рассуждениям. Если тот материал, которым располагает наша эпоха, должен обрабатывать-

ся, как показывает история человечества, в продолжение множества тысячелетий, ситуация первобытного человека и ситуация ребенка могут в некоторых моментах совпадать в том, что у первобытного человека нет инструментов, которые использует современная мысль, тогда как ребенок не умеет еще пользоваться ими из-за недостатка опыта, а главное из-за своей незрелости.

У ребенка нервные центры интеллектуальной жизни, то есть те области и системы коры мозга, которые развились в новейшее время и миэлинизируются последними, иначе говоря, приобретают способность функционировать, надолго предоставляют своего рода автономию видам сенсомоторной и аффективной деятельности, которая потом должна контролироваться ими. У первобытного человека также это преобладание может относиться к аффективной жизни и к сенсорно-моторной деятельности, потому что для интеллектуального контроля не существует идеологических систем и средств абстрактной мысли, которую современная цивилизация предоставляет каждому индивидууму. Впрочем, и весь строй жизни первобытного человека удерживает аффективную жизнь и сенсорно-моторную деятельность на первом плане. И действительно, каким образом его речь могла бы дать ему значения этих образов и способы вызывать их в памяти в соответствии с безличной каузальностью, если он не располагает еще навыками, такими же свободными от субъективного вмешательства, каким является теперь повсеместно распространенное использование электричества?

Сходство между некоторыми интеллектуальными реакциями у ребенка и первобытного человека — они лишены необходимых средств у одного из-за временной неспособности пользоваться ими, у другого потому, что в той среде, в которой сформировался его интеллект, их еще не было — зависит также от тех затруднений, к которым обязательно приводит упражнение мысли и которые действительно представляют собой нечто существенное. Данные затруднения вызваны антиномией между условиями интеллектуального представления и пережитым обменом действий и реакций, через который в практическом опыте каждого индивидуума непосредственно выражается одновременное существование его самого и среды. Затруднения, с которыми сталкивается ребенок, являются затруд-

нениями, с которыми сталкивалась человеческая мысль при своем возникновении. Можно отметить, что данные затруднения имели значение и в других областях, вплоть до истории философии, которая, однако, относится к новейшему периоду развития вида, когда человеческий разум уже обладает очень развитыми техническими и интеллектуальными средствами, как-то: письменность, положения, делающие возможной абстрактное обсуждение, способность анализировать операции мысли, соотношения мысли и предметов.

* * *

Однако какими бы часто поразительными ни были совпадения между мыслью первобытного человека и мыслью ребенка, между ними остаются глубокие различия, которые необходимо подчеркнуть, так как до настоящего момента сравнение было скорее ассимилирующим, чем дифференцирующим. Прежде всего ребенок одновременно гораздо менее развит и гораздо более близок к нам, чем первобытный человек. Ближе потому, что между ним и теми, кто его окружает, имеются только общие черты. Ребенок приспосабливается к взрослому вследствие потребности, которую он испытывает в нем. Ребенок усваивает от взрослого манеру поведения посредством своего рода постоянного обмена, в котором он является сначала одновременно, а потом по очереди рецептивным и активным полюсами. Те же экспрессивные изображения, тот же язык, те же жесты в связи с тем же предметом с той только разницей, что временная недостаточность сначала препятствует деятельности ребенка. Реальность, которая его формирует, есть реальность, которую создал современный взрослый, а до него создал прошедший. Так непрерывно происходит конвергенция одного с другим. Разве удивительно, что взрослый может ошибаться и часто видеть в ребенке только простую миниатюру самого себя?

Ребенок, однако, гораздо менее развит, чем первобытный человек, ибо его системы мысли значительно более рудиментарны и состоят из соединений, отдельные части которых плохо согласуются друг с другом. Это проявляется тогда, когда путем вопросов ребенка побуждают объяснять предметы, отдавать себе отчет в их изменениях. Но особенно ему не хватает того, что некоторые

отмечают у первобытного человека как обязательный признак его мистического, дологического мышления, а именно: чувства невидимых сил, соединяющих природу со сверхъестественностью, способность создавать фикции, образующие мифическую копию чувственного мира, а над данными реальности оболочку из различных виртуальностей. Самое большее у ребенка имеются неясные иллюзии и смутные страхи, мотив которых, если он существует, несомненно, ведет свое начало от некоторых рассказов взрослых.

Сон, например, который для первобытного человека является способом привилегированного доступа к миру невидимого, — для ребенка сохраняет всю свою ирреальность. Еще в 6; и 6; $^1/_2$ некоторые дети, наведенные на этот предмет, оказывается, едва представляют, о чем идет речь, конечно, не потому, что они не видят снов, а потому, что их сны не открывают им перспектив в их интеллектуальной жизни. Ребенок 6;6 отвечает: «Сон, это когда храпят». Двое детей 6 лет, рассказывая свой сон, явно показывают, что он не оставил у них иллюзий.

Один ребенок говорит, что он видит во сне волков: «Что делают волки? Ты видишь или слышишь их? — *Я вижу их.* — Они больше, чем ты? — *Да, господин.* — Они злые? — *Да.* — Тебе хочется спастись? — *Да.* — Где находятся волки? — *В лесу.* — Когда ты видишь сон, они в твоей комнате? — *Нет, в лесах.* — Но когда ты видишь их, ночью? — *В моей комнате.* — Значит они находятся в твоей комнате? — *Я вижу сон, они в лесах.* — Что такое сон? — *Это значит бояться.* — Почему видят сон? — *Потому что боятся.* — Когда ты видишь сон, волки, действительно, есть? — *Нет.* — Если это неправда, тогда как может прийти сон? — *Он приходит в нашу голову.* — Но если это в твоей голове, как ты можешь видеть волка перед собой?.. Ты видишь во сне кроме волков что-нибудь еще? — *Да, крыс.* — Где находятся крысы? — *В погребе.* — Но когда ты видишь сон, ты видишь погреб? — *Да.* — Где ты тогда находишься? — *В своей комнате, в своей кровати.* — А крысы? — *В погребе.* — Значит, они в погребе, а не в комнате? — *Это сон, я сплю.* — Твоя маленькая сестра, которая спит с тобой, она видит твои сны? — *Нет.* — Почему? — *Она спит.* — Если бы она не спала, она видела бы? — *Да.* — Где? — *В моей голове.* —

Значит, если бы ее разбудили, она бы увидела в твоей голове? — *Нет*».

В этих ответах заметно некоторое смущение. Ребенок борется с тремя видами мест, которые он не знает как объединить: окружение животных, которых он видит во сне, то есть место действия, его собственное место спящего, то есть личное место, и, наконец, место сна как такового, то есть его собственная голова. Из этих трех пространств, пространство, в котором двигается образ волков, несомненно, рассматривается как воображаемое, хотя формулировки ребенка сначала вполне реалистичны. Пространство, в котором он знает, что спит или спал, является обязательно объективным, то есть в какой-то степени его собственным, личным пространством. Пространство, которое ребенок отводит эффективному местопребыванию своего сна, является также обязательно объективным, и, по существу, такая локализация образов в голове соответствует какому-нибудь сенестезическому впечатлению, своего рода отрицательной интуиции, рассуждению или простой традиции. Кажется, ни на одно мгновение ребенок не поддается иллюзии, что сон может перенести его с того места, где он заснул, в то место, где он мог бы лично и реально участвовать в сцене сна. Следовательно, он кажется ближе к своему современнику, к взрослому, чем к первобытному человеку. Но у первобытного человека есть не иллюзия, а вера. Он не смешивает мир своих ощущений и актов с миром невидимого, куда его может ввести сон. Он считает, что их сосуществование влечет за собой определенные взаимоотношения, и ищет к ним ключ. Если сны для него нечто большее, чем простые образы, подобно нашим научным представлениям, которые придают вещам их истинный смысл и позволяют предвидеть и изменить их эффекты. Ребенок, наоборот, еще не знает, каким образом согласовать сны с другими планами своего опыта. Если он признает их ирреальность, как, впрочем, это делает по-своему и первобытный человек, он все-таки затрудняется отличить чистое представление от реального.

Вот ответы другого ребенка также 6 лет: «Что такое сон? — *Это значит ложатся и видят сон, закрывают глаза и видят сон.* — Что ты видел во сне? — *Я видел даму, которая бросалась в воду со своим ребенком.* — Ты знал эту даму? — *Нет, потому что это во сне.* — Сон, это

правда? — *Она не была настоящей, но я видел ее.* — Это неправда то, что видят во сне? — *Нет, потому что я больше не видел ее.* — Где находится сон, когда видят сон? — *Когда закрывают глаза.* — Но где это происходит? — *Когда закрывают глаза.* — Но когда это происходит? — *Когда спят.* — Но где это происходит? — *В моей голове.* — Ты видишь это в своей голове? — *Я думаю в моей голове.* — Когда ты думаешь в своей голове, ты спишь или нет? — *Я сплю.* — Но если это происходит в твоей голове, как ты можешь видеть предметы? — *Во время сна.* — Можно видеть то, что ты видишь во сне? — *Нет... я видел во сне господина, который стрелял из револьвера в живот.* — Ты знал этого господина? — *Нет.* — Разве никогда не могут видеть во сне настоящих лиц? — *Нет.* — Ты мог бы видеть во сне свою маму? — *Нет.* — Почему так? — *Потому, что я не думаю.* — Да, но может так случиться, что ты думаешь о ней? — *Нет, этого не может случиться, потому что я не думаю о ней.* — Но почему? — *Потому, что я думаю о других лицах, а не о ней.* — Лица, о которых ты думаешь, настоящие? — *Да, я думаю о людях моей родины (Монтаржи).* — Но почему не о людях Булони (местонахождение ребенка)? — *Я не думаю о них.* — А о других? — *Я часто думаю о людях из Монтаржи.*— Ты думаешь о своей учительнице? — *Нет, никогда, никогда.* — А о людях из Монтаржи? — *Я думаю о тех,* у *которых я был. Это человек, которого зовут Л.* — Когда ты видишь во сне Л., где он находится? — *На заводе.* — В тот момент, когда ты видишь сон? — *Он бросает меня в воду.* — Ты просыпаешься, когда он бросает тебя в воду? — *Нет.* — Но ты его видишь? — *Нет, я не вижу его, я вижу во сне его*».

Здесь противопоставление между реальностью и сном утверждается более определенно. Два момента, два различных акта — видеть и закрыть глаза, существовать в реальном, видеть во сне или думать. Этот контраст, подкрепляемый словарем взрослого, даже служит средством избежать затруднения при установлении соотношения мест или образов, что вызывается необходимостью включить сцены, в которых сон соединяется со спящим в его действительной ситуации спящего человека. Но реалистическая манера, в которой проявляется это удвоение, показывает, до какой степени сон и реальность, представление и факт еще мало диссоциированы и проекти-

руются в одном и том же плане. В действительности посредством своего рода отрицательной иллюзии все то, что является образом сна, сначала кажется неспособным иметь свою копию в реальности. Затем эта исключительность смягчается; и только персонажи воспоминаний, отсутствующие, те, кто встречались в прошлом и кто находится в другом месте, приобретают способность быть персонажем сна. Все то, что относится к настоящей жизни, не может быть предметом сна. Одновременно ребенок проявляет неспособность различать возможное от того, что существует: «Это не может случиться, потому что я не думаю о ней». Помимо действительного опыта, существует только ирреальность; образ, представление являются ступенями к ирреальному.

У первобытного человека эти отношения прямо противоположны. В мире вещей и в мире сна действуют те же существа. Они обладают чувственным существованием и воображаемым существованием. Чувственное существование подчинено влияниям, которые выходят за его пределы. Местом же или источником действия является воображаемое существование. Из двух существований оно наиболее реально, так как преобладает над другими, как причина над следствием. Для взрослого в наши дни сон не более как фикция, но воображаемое разделяется на рациональный и научный образ предметов. Ребенок еще настолько далек от такого различения, что сводит формулу возможного к формуле простого факта. Планы пережитой реальности и воображаемой реальности, являющиеся прелюдией к мыслительной реальности, здесь еще неясны.

* * *

Для первобытного человека попытка объяснить видимое невидимым не является своего рода аберрацией, которая якобы отвращает его от реальности и которая в противоположность нашему усилию, направленному на научное познание мира, заставляет его предпочитать мистическое естественному. Это необходимое условие всякого интеллектуального усилия, когда его цель — выйти за пределы данных просто пережитого опыта и обнаружить за эффектами, в вызывании которых принимает участие наша собственная деятельность, причины, из знания которых можно вывести способы поведения для того, чтобы

воздействовать на них иначе, чем непосредственно реагируя одними сенсомоторными средствами.

То, что я предложил назвать «категорией оккультного» незадолго до Леви-Брюля, выдвинувшего свою «аффективную категорию мистического», передает главным образом усилие ума, стремящегося перейти от грубых, эфемерных, неспособных ни полностью совпадать, ни поддаваться сравнению неясных и субъективных данных непосредственного опыта в план обдуманной каузальности. Этот процесс перехода уже весьма продвинулся в верованиях и образах так называемых первобытных людей. А их верования и образы настолько противоположны истинной структуре вещей и тем приемам, которыми они сами пользуются в своих физических взаимоотношениях с физическим миром, что и мы можем уловить их. Следовательно, их жесты, их орудия находятся в соответствии с законами механики, с тем, что их восприятия позволяют им знать о свойствах, связанных с предметами, и о ходе событий, который обычно поддается наблюдению. Но они используют орудия другого рода, когда пытаются воздействовать на предметы посредством представления. Часто, впрочем, обе функции интерферируют, отчего эти композитивные орудия — наполовину ритуальные, наполовину практические, в которых символ врастает в форму, требуемую обычаем.

Между аффективным и оккультным не существует тождественности. Аффективность никоим образом не может ассимилироваться с интеллектуальной категорией. Она скорее должна противопоставляться классифицирующей и различающей деятельности интеллекта. Конечно, аффективность никогда полностью не отсутствует в интеллектуальной деятельности, но она в большей или меньшей степени сводится к объективным отношениям, которые познание стремится установить между предметами. Если аффективность перестает быть простым стимулом или интуитивной догадкой, выдвигается на первый план, она обязательно затемняет интеллектуальную работу и подменяет категорию познания другой, отличной от нее категорией.

С другой стороны, «категория мистического» противоречит тому, что сам Леви-Брюль говорит о первобытном человеке, так как ему не удается подчеркнуть господствующей в мысли первобытного человека путаницы

между естественным и мистическим, то есть между свидетельствами сенсомоторного опыта и теми силами — для нас нереальными, — которыми он наполняет свой мир. Эти два вида существований должны быть одинаково законными и естественными. Но последний обладает гораздо более высоким коэффициентом действенности и реальности, чем то, что является простым впечатлением или простой манипуляцией предметами. Различие между этими двумя существованиями — это различие между эффектами, свойственными миру чувств, и тем силам, которые проявляют себя посредством эффектов, но сами не подчиняются сенсорной аперцепции. Совершенно очевидно, что граница здесь подвижна, поскольку эффекты, в конечном счете, могут полностью передавать ту силу, результатом которой они являются. В этом и заключается начальное различение, необходимое для упражнения мысли.

Чтобы противопоставить современную экспериментальную мысль наслоению невидимого на видимое у первобытного человека, Леви-Брюль приводит слова мадам Паркер: «Какими интересными становились мои прогулки в зарослях вместе с неграми! Каждый гребень горы, каждая долина, каждая излучина местности имели свое название и вообще свою легенду». Против этого я [Анри Валлон. — *Ред.*] возражал: «Перед теми же видами почвы геолог может заставить вас также восхищаться, описывая те земные революции, свидетелями которых они являются. Между миром мифов и миром науки существует функциональное подобие. И тот и другой миры — это мир причин, подчиненный или, вернее, смешанный с миром чувственных эффектов» [1].

«У австралийцев, — говорит далее Леви-Брюль, — и даже во многих обществах с относительно «передовой» цивилизацией, мифы и большинство сказок и легенд, как мы это видели, принимаются за действительные истории... Нашему уму, наоборот, эта текучесть представляется несовместимой как с логическими, так и физическими условиями реальности. Все мы, как неученые, так и ученые, чувствуем, что живем в условиях интеллектуальной природы, основа которой состоит из необходимых законов и установленных форм, соответствующих определенным

[1] Le réel et mental. Journal de Psychologie, mai — juin, 1935, p. 467

понятиям. Поэтому никто не может верить в сказки, кроме маленьких детей... В сказках о фее... кот, являющийся также и человеком, становится важным господином, оставаясь котом. Тыква превращается в карету, толстая крыса в кучера быстрее, чем об этом можно написать. Мы попадаем здесь в такой же текучий мир, как мир мифов Австралии и Новой Гвинеи, мир, в такой же степени не соответствующий законам природы и требованиям нашей мысли» [1].

Я возражал Леви-Брюлю: «Приобщение ребенка к законам природы и к ее образам, которые дает ему наша мысль, приобщение к результатам, которые ей удается вывести из них, ставит ребенка перед чудесным, таким же удивительным и даже еще более непостижимым для него. Чтобы убедиться в этом, достаточно попытаться описать ребенку то, что он видит перед собой, а именно, что такое солнце, в каких пространствах оно перемещается, какие реальности сверкают в звездном небе; потом, со временем, спросить у него, как из желудя может появиться дуб; показать ему что за светом, который он зажигает, повернув выключатель, и за поездом, который его увозит, скрывается водопад, до которого «фея электричества» дотронулась своей палочкой. Здесь также превращения водопада в электричество, а электричества в свет или движущую силу почти мгновенны, и в них электричество не перестает быть электричеством. Можно ли сказать, что в мифах первобытного человека или в детских сказках «текучесть» больше, чем в превращениях в природе или в превращениях, вызванных промышленностью человека?»

Этим сравнением, разумеется, не отрицают тех огромных различий, которые в результате прогресса цивилизации и познания возникли между чудесным в мифах и чудесным в науке. Речь здесь идет только о том, чтобы показать, что абсурдность и бессвязность не заключаются в несходном и изменчивом. Чтобы измерить, на каком расстоянии от обоих находится ребенок, достаточно указать на бедность его фикций и особенно на его неспособность дать какое-либо объяснение мифическим существам, передаваемым ему по традиции.

Le réel et mental. Journal de Psychologie, mai — juin, 1935, p. 467

Только в возрасте 7 или 8 лет ребенок приобретает способность создавать фантастические персонажи, хотя сомнительно, что он умеет это делать самостоятельно. Детская легенда зачастую создается совместно с кем-нибудь, фантастическое существо обретает форму, а обстоятельства или подробность, сообщенная одним из юных партнеров, вызывают в памяти другого какие-нибудь дополнительные обстоятельства или подробности. Анатоль Франс сохранил воспоминание об одном смешном и отвратительном персонаже, которого он и его сестра создали в своем воображении в качестве хозяина их сада. Много лет спустя один из них начал вдруг вспоминать имя этого персонажа к великой радости своего партнера и к изумлению родителей. Иногда роль рассказчика выполняет старший из детей, подражая взрослому. Рассказчик пробует свои эффекты, а участие младших часто ограничивается тем, что они восхищаются, задают вопросы или не понимают. Эти истории остаются за пределами реальности. Ими нельзя объяснять. Это мир, куда ребенок скрывается от любопытства и насмешек взрослых. Это игра.

Случается, однако, что захваченный врасплох каким-нибудь вопросом ребенок также начинает призывать высшие силы — боженьку, маленького Иисуса, о которых ему рассказали взрослые. Но он неумело объединяет данные силы с другими своими ответами. Если ребенок призывает их, то это обычно просто потому, что он не может найти другую более подходящую причину, это неудача. Впрочем, чаще всего это случается, когда приходится объяснять, что на небе происходит перемена погоды или что на небе есть светила. Приходится предполагать, что там, наверху, где нет людей, есть кто-то, кто действует. Бог посылает дождь, он зажигает солнце и луну и разбивает солнце на кусочки, чтобы создать из него звезды. Но если ему нужна вода, он должен черпать ее из Сены при помощи веревки. Маленький Иисус влечет за собой упоминание о рождественском деде, несомненно, через посредство игрушек, так как они оба призваны их раздавать. Как же потом согласовать их отношения и роль на небе? Тогда рождественский дед ведет маленького Иисуса в школу. Но в школе находится много детей. И вот, вопреки своим первоначальным утверждениям, ребенок допускает существование многих

маленьких Иисусов. Ответив сначала, что он видел Иисуса в яслях, ребенку приходится затем придать ему крылья, чтобы отправить его на небо, что противоречит тому образу, на котором он основывал свое доказательство. Превращение в легенду — это спонтанное следствие случайного, неосновательного объяснения. Впрочем, данное превращение весьма непрочно. Один и тот же персонаж то распадается на многих, то претворяется в свое изображение и последовательно воображается только на земле и на небе. Чтобы объяснить этот переход, надо видоизменить его традиционный образ.

Этот элементарный реализм, план существования которого един, далек от того всеобщего распространения одного и того же существа, что часто имеет место в верованиях первобытного человека. Эти верования представляются как вызов разуму. Действительно, ими выявляется недифференцированность реальных и фиктивных мест или, вернее, длительная связь локального реализма с тем, что уже не является больше чисто телесной реальностью. Но уже верования указывают на определенную свободу представления по отношению к реальности. Оборотень, блуждающий далеко от спящего и связанный с ним существованием, представляет собой как бы эманацию его деятельности и искаженных потенциальностей. Конечно, он еще сохраняет нечто плотское, так как в этих остатках «первобытного мышления», еще близких к нему, видимое и невидимое, эффект и реальность, творящая природа и сотворенная природа могут быть представлены в воображении только в одном и том же виде. Невидимое всегда находится на границе видимого. Невидимое перестает быть невидимым в некоторых случаях или для некоторых привилегированных, или в снах. Оно, следовательно, является еще весьма конкретной сублимацией реальности, которая испытывает на нем свои превращения. Но за пределами актуальных видимостей реальности имеют место уже ее изменения.

Что касается ребенка, то он умеет еще только соединять между собой предметы своего непосредственного опыта. Он объясняет движение моря скалами, а движение Сены — ступенями лестницы, ведущей к ней. Точно так же он приписывает судам течение, которое движет рекой, или волны, которыми покрывается море. У ребенка есть опыт пульсации, передающейся от одного предмета

к другому, но он еще настолько неспособен отойти от их чисто чувственного вида, что не умеет разобраться, в каком направлении они совершаются. Часто он даже последовательно переставляет те элементы, которые для него играют то активную, то пассивную роль. Ребенок еще не способен перенести в поле сил и виртуальных эффектов систематическое представление тел и движений.

* * *

Интеллектуальное различие между веком тотема и веком науки является различием не столько в уровне, сколько в идеологических материалах и технике. Невидимые силы у первобытного человека, разумеется, нельзя сравнивать с теми силами, с которыми имеет дело физик, но, по-своему, они играют одинаковую роль. Невидимые силы отличаются от реального, но смешаны с ним, оказывают на него воздействие, вторгаются в него, составляют его часть. Они представляют собой копию индивидуума или его клана, и некоторая часть их переносится в прошлое (как в случае с предками) в какие-нибудь реальные или мифические места (когда речь идет о продолжении жизни умерших), но всегда остающиеся связанными с настоящим, подобно зеркалу или скорее принципу того, кто сейчас живет. Это скрытое существование, из которого возникает видимое существование, это постоянная опора того, что подвержено изменениям и случайностям жизни. Это неосязаемый мир причин.

Несомненно, что это существа, которые как будто бы занимают свое место в хронологии, но в то же время переживают самих себя в качестве постоянного источника действий и результатов. И очень часто те отдаленные времена, когда они существовали, представлены как вообще предшествующие времени, то есть как вневременное или вечное. Даже кажется, что это вечное существование является концепцией, которая предшествовала потребности отвести мифическому миру данное место в последовательности времен. Эта потребность возникла тогда, когда время превратилось в категорию, означающую систематическую последовательность. Вначале оно смешивалось с чувством субъективного существования и с повторением некоторых традиционных торжеств, как раз и представлявших собой воспоминание о мифических существах, от которых зависит клан, призывом к тому,

что являлось его субстанцией, разумом, действенностью в форме образа.

Тотем, будучи вначале вне времени, занял свое место во времени вместе с предками тогда, когда последующие поколения, приобретя способность сосчитать себя, должны были рассматривать себя в качестве потомков тех самых различных существ, которые во времени, наконец-то разделенном на века, относятся к I веку. Следовательно, копия прошла путь от своей первоначальной имманентности до более индивидуализированного существования, которое пришлось отнести к той эпохе возникновения, рамки которой представлялись в отчетливом виде. В то время, к которому приходится отнести это историческое родство, в мифе, может быть, была пробита первая брешь. По крайней мере это привело к существу, основу которого всегда следует искать вне того, что является простым опытом или действием в зависимости от обстоятельств или потребностей.

Этими церемониями первобытные люди стремятся оживить и вызвать на помощь данные покровительственные силы. Это весьма строго определенные ритуальные обычаи, которые через посредство своей систематизации, устанавливают своего рода логическую связь с категорией оккультного. Для того чтобы воздействовать на реальное, эти обычаи всегда были более обращены к социальному, чем к физическому, но вместе с тем они устанавливали первичную связь между ними. Их основная цель заключалась в том, чтобы установить взаимоотношения между людьми, давая им устойчивую опору в виде кланов и племен и позволяя, таким образом, согласовывать индивидуумам и коллективам свою деятельность. В то же время при помощи обычаев они включались в рамки физической среды, придавая каждому элементу социального тела освященную область и освященные местности. Между физическим и социальным происходило некое субстанциональное единение посредством аналогий и легенд. Структуры, свойственные человеческому и физическому мирам, становились общими. Перебрасывая мост между обществом и природой, эти образы предшествовали понятиям. Так, например, пространство, необходимая среда любого прямого воздействия на предметы, служит еще основой обрядов, верований и представлений, пытающихся выйти за пределы этого дей-

ствия. Отождествление определенных мест и кланов, исторических мест и традиций, свойственных данной группе, освященных мест и тотемических источников подготовило почву для образов и систем образов, которые не могли больше воплощать, но которые нельзя различать и ассоциировать иначе, как распределяя их в некоем умственном пространстве.

Эта ассимиляция социальных мифов и реальности, несомненно, вносила в вещи настолько чуждые их природе различия, что они кажутся нам совершенно нелепыми. Тем не менее, создавая мифы в соответствии с единственными видами согласованной, упорядоченной и императивной деятельности, которая на данном этапе человеческого общества могла распространиться на них, эта ассимиляция положила начало необычайному усилию в классификации. Наступил момент, когда деятельность человека стала направляться чем-то иным, кроме его автоматизмов, используемых для удовлетворения его потребностей; когда эта деятельность не стала больше ограничиваться более обширными и сложными констелляциями, которым более богатые структуры нервной системы человека дают возможность непосредственно реализоваться между всеми полезными данными действительной ситуации, наступил момент, когда она стала подчиняться обрядам, отличающимся от самого предмета, когда она стала стремиться реализовать образы и выразить понятия, выходившие за рамки ее чувственной внешности; с этого момента и начинается та великая попытка представителей теории, которая должна привести человеческий род к осмыслению вселенной и в то же время бесконечно обогатить его собственное сознание, оторвав его от простых депрессивных или тонических чередований желаний и их удовлетворения, страданий, порожденных потребностью, и импульсов, порожденных желанием, и спокойным состоянием без инициативы, без спонтанности, которая за ними следует.

Оккультное является категорией или скорее оттиском категорий, через посредство которых человек, чтобы воздействовать на вселенную, попытался представить ее себе, познать ее, рассматривая ее как нечто отличное от простых ситуаций, относящихся к непосредственному и грубому опыту, предполагая в ней более глубокую реальность, чем во внешних обстоятельствах момента, пытаясь найти в ней нечто иное, кроме простой причины своих

привычных и импровизированных поведений, предполагая в ней принципы постоянства, отождествляя ее с суровыми силами, с влияниями, которые надо испытать или преодолеть, и с основаниями, которые, несомненно, можно предвидеть. Поместив действенность вне испытанных эффектов в существа, скрытые силы которых надо подчинить и направить при помощи обрядов, связанных с их образом, категория оккультного впервые сочетала действие с простыми представлениями. Она начинает магически действовать сначала при помощи представления как такового, отождествленного с существом. Но постепенно формулы лишаются своего подобия с человеческой средой, чтобы в большей степени отождествиться с наблюдаемыми отношениями между полученным эффектом и использованным навыком. Таким образом, понятие будет постепенно соответствовать предмету и его сущности.

Несомненно, что такие авторы, как Леви-Брюль и Блондель, заметили, что в эпоху мифов практическая жизнь первобытного человека уже подчинялась законам причинности, гораздо более соответствующей природе предметов, чем это можно было бы предположить по их верованиям. Но это подчинение условиям среды отмечается также и в поведении самого элементарного животного. Его существование нельзя себе даже представить, если структура его органов или его актов не соответствовала бы законам вселенной. Приспособиться к ней, по меньшей мере, в достаточной степени или исчезнуть — такова альтернатива, от которой не может уклониться ни одно существо. Но осознать эти законы и использовать их через посредство познания — это значит оставить план простого соответствия, контролируемого подбором и (какой бы искусной ни представлялась эта адаптация) перейти в совершенно другой план деятельности, в котором использованный материал является уже не непосредственно вещью, а образами или символами, которые можно образовывать, кстати, под контролем их эффективности. Эта эффективность имеет много форм или степеней. До превращения в экспериментальную и физическую эффективность она была ритуальной и человеческой. Но проблема заключается в том, чтобы выяснить, не являются ли промежуточные этапы такими этапами, на которых только можно создать словесный и логический аппарат, без которого нельзя включить опыт в рамки мысли.

* * *

Тип наших знаний в настоящее время — это научный тип. Однако здесь придется провести много различий. Интеллектуальный тип современной науки не является более типом картезианской науки. И если мы вернемся хотя бы на несколько веков назад, тип знаний изменяется еще более глубоко, до такой степени, что мы поддаемся соблазну считать, что здесь речь идет больше не о знаниях, а об иллюзиях, предрассудках и в конечном счете о мифах. Эти мифические понятия, однако, соответствовали некоторым формам действия, которые теперь, несомненно, преодолены. Но в течение тысячелетий за этими формами скрывалось существование обществ, и хотя данные формы сдерживали их развитие, они все же благоприятствовали его первоначальным интеллектуальным достижениям. В мифических понятиях воспроизводились некоторые полезные связи этих обществ с естественной средой. Они являлись способом группировать естественные предметы, представлять себе действующие силы в природе, постигать, объяснять их, противопоставлять им или соединять с ними силы человека. Как мы ни рассматривали бы эти представления по сравнению с нашими, их нельзя не назвать знаниями. Они включали в себя навыки. Несомненно, эти навыки являлись более социальными, чем предметными, более мистическими, чем научными, но уже весьма определенными, имевшими свои критерии и дававшие возможность проводить сравнение между затраченным усилием и достигнутым результатом. Данные навыки были необходимы для тогдашнего весьма медленного становления общества и, следовательно, для самого знания. Благодаря этим навыкам выработались первоначальные рамки интеллекта и размышления.

Философы и логики свели отношения между мыслью и предметами к категориям, иначе говоря, к формам или принципам, из которых должны следовать все те серии отношений, что мысль способна познать или установить между предметами. Анализ или дедукция категорий обычно производится в продуктах деятельности мысли. Отсюда следует, что категории сливаются с состоянием мысли на каждом данном этапе цивилизации. Однако философы считали, что благодаря самым постоянным и необходимым условиям или рамкам, присущим их эпохе,

устанавливаются постулаты любой возможной мысли. В этом были уверены Аристотель и Кант.

Прямым следствием этой веры в необходимость некоторых вечных принципов явилось или то, что правильность соотношения между познанием и предметом стала сомнительной, или что стали даже подменять предмет познанием, а это привело либо к агностицизму, либо к идеализму. Заявив, что ум не способен ничего уловить, иначе как через *априорные* категории, философы-агностики, подобно Канту, считали, что ум призван находить в предметах свою собственную структуру, и преградили ему доступ к сущности предметов, к их реальности в себе. Идеалисты — это те, кто, исходя из этой неспособности ума, задаются вопросом, почему человек должен предполагать, что вне самого его познания существует предмет, который выходит за рамки познания.

Все эти рассуждения отпали бы, если бы доказали, что современные категории познания не постоянны, не являются абсолютно неподвижными, что они не всегда существовали в их настоящей форме и что им еще, по-видимому, предстоит развиваться. Разумеется, нам кажется, что сегодня между предметами таковыми, как они существуют и как мы их себе представляем, подобие настолько точное, что переход, если он необходим, должен быть непосредственным. Но по мере того как мы удаляемся от настоящего времени и приближаемся к понятиям прошлого, кажется, что разрыв между представлениями людей и природой вещей все усиливается. Пример первобытных людей является лишь крайним пределом. Но если внимательно рассмотреть гораздо более близкие к нам идеологические системы, из которых, как мы считаем, возникли и наши, то мы также найдем в них своеобразные различия, например, между нашим образом мыслей и образом мыслей Платона, между его представлениями о бытии и причинности и современными представлениями. Разве образы у Платона, то есть *идеи*, не сохраняют как бы отражение магической силы, которое дает возможность предчувствовать переход от «мистической» или первобытной мысли к нашим рациональным образам мысли? Платон проводит весьма четкое различие между видимым и невидимым, отмечает абсолютное преобладание духовной сущности над чувственной внешностью предметов, в которой он видит простую деграда-

цию первой. Разве не так же, как и у первобытного человека, смешиваются мистическое с естественным, мистические силы с реальным, приписывается мистическим силам преобладающее существование и действенность? Делая это, разве не предвосхищает он современного человека, который постулирует точное подобие своих представлений и предметов и который доверяет своим представлениям о реальном, чтобы изменять его?

Можно ли сказать, что оправдать эту претензию способны только приобретенные познания и что также они одни способны установить рамки познания и пробудить у человека разум? Несомненно, что познание в течение веков развивалось при их посредстве и что каждое общество могло вносить что-то свое в эволюцию человеческого интеллекта. Однако следует учитывать те трудности и противоречия, которые человеку приходится преодолевать при каждом успехе познания, перед лицом реальности, снова не подчиняющейся ему, как это и должно быть, в результате преобразования самого рационального орудия. Есть эпохи, когда кажется, что усилие мысли заключалось скорее в том, что она выковывала и очищала принципы разума, чем увеличивала запас знаний. Таковыми, например, являются: греческая эпоха от Пифагора до Платона (мы мимоходом останавливаемся на софистах), когда рационализм пытается освободиться от мистицизма и установить основы действительно доказательного рассуждения; эпоха попытки Аристотеля, который, несомненно, собирал знания своего времени для того, чтобы ввести их в рамки определенной мысли, и потом эпоха упорной и неуловимой познавательной работы, эпоха средневековой схоластики.

Эта работа никогда не будет закончена, пока прогрессируют наши знания. Бывают периоды, когда наука вынуждена пересматривать свои основные принципы, что делается, например, в современной физике. Эта необходимость представляется катастрофой только для тех, кто противопоставляет иллюзорную стабильность и якобы окончательные принципы разума тем преобразованиям, которые обязательно происходят в уме по мере того, как он все глубже проникает в реальность. Формула категорий не дана раз и навсегда. Человеческая деятельность, обладающая способностью использовать предметы, сопровождается категориями. На каждой стадии мысли кате-

гории представляют собой то, чем они могут быть в зависимости от тех средств, которыми располагает человек по отношению к вселенной. Поэтому здесь уже нет выбора между агностицизмом или идеализмом. Они уступили место реализму, являющемуся не верой в непосредственное тождество между нашим грубым впечатлением от предметов и их сущностью, а, наоборот, уверенностью в том, что наши познания, прогрессируя и изменяясь в каждую данную эпоху, представляют собой знак тех законов и структур, которые наши навыки дают возможность нам обнаружить и использовать в природе.

Значение последствий этой тесной связи между умом и предметами оказывается непредвиденным. Благодаря потребностям познания строение разума не является окончательным. Различия, которые, казалось бы, стали фундаментальными, могут оказаться стертыми. Некоторое искоренение чувствительности и ума могут быть только временными. Может показаться, что такие формы интуитивных отношений с существами, предметами или вселенной находятся в регрессии. Нельзя быть уверенным в том, что данные формы не смогут возродиться вследствие нового поворота мысли в процессе ее соприкосновения с миром. Уже сейчас возможно, что они оплодотворяют, при случае, самые объективные усилия нашего современного общества и нашей науки. Нет таких сил, которые исчезли бы навсегда, даже тогда, когда мы должны считать их пройденным этапом и относящимися к более примитивной форме действия или мышления, чем наша.

Но если это так, то не может быть противоречия между нашим современным типом мысли и другим типом, как это предполагали Леви-Брюль, Блондель или Пиаже. Противоречие, которое необходимо рассмотреть, является противоречием, противопоставляющим ситуационный интеллект, в котором сливаются действие и предметы, интеллекту, ставшему оперировать представлениями и символами после того, как он переработал этот материал, начиная с самых отдаленных цивилизаций. Можно ли уловить переход от одного интеллекта к другому? Задача весьма трудная, но мы позволили себе указать здесь, по крайней мере, некоторые ее психологические факторы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПСИХОМОТОРНЫЕ НАЧАЛА МЫСЛИ

Глава I

ПЕРВЫЕ СТАДИИ

Сложность или разнообразие решений, возникающих перед конкретными ситуациями, не могут привести к уничтожению порога, находящегося между чисто практическим интеллектом и таким, которое исходит от мифов и ритуалов, чтобы стать с прогрессом цивилизации и рациональным и научным знанием. Конечно, невозможно, чтобы, сосуществуя, они не были бы использованы друг за другом или одновременно в действии, в процессе предвидения или исполнения. Но по существу между двумя знаниями имеется существенное различие. Одно знание исчерпывается целиком и полностью в тех обстоятельствах, которые оно использует, и в тех результатах, которых оно достигает. Сочетание способов является для него только употреблением средств, предоставленных в данное время расстановкой мест и вещей. Сочетание движений не выражает ничего иного, кроме способности переделать поле действия так, чтобы заставить его совпасть с желаемым результатом. Как ни изобретательны используемые приемы, как ни ловки жесты, мотив их существования смешивается с исполнением, происходящим в данный момент. Единственное значение приемов и жестов — это их непосредственно видимые следствия. Напротив, ритуальный жест обозначает только отнесенное к некоему прототипу, только иной мотив, получение через это посредничество результата, условия или возможности которого не присущи, по крайней мере, полностью, полю данных обстоятельств. Сам ритуальный жест является не столько действием, сколько наглядным изображением действия. Искомые следствия находятся не в нем, а в силах, которые он стремится вызвать, то есть в том, что он представляет. Ритуал вводит представление,

и благодаря ему оно становится посредником или конденсатором действия, которое больше не заключается в простом грубом обращении с предметами, в простом мускульном действии в контакте с объектами.

Видимость действия сначала может отвлечь нас от будущего, присущего практическому и ритуальному жестам. Практический жест является изобретательным, он руководим своего рода пластической интуицией, заставляющей его испытывать и использовать качества или особенности вещей. Эти предварительные испытания вещей руководят совокупностью операций, в которых комбинируются и смешиваются благоприятствующие успеху обстоятельства. Практический жест — источник умения, которое может проявляться или в простой ловкости, или в скрытом владении привычными приемами. Ритуальный жест с самого начала стереотипен. Он кажется иногда, как у ребенка, автоматически вытекающим из той элементарной тенденции, которая имеет образец наших действий, повторяющихся под влиянием аналогичных обстоятельств или даже благодаря своего рода самостоятельной установке. Кажется, что изобретательность ему вовсе чужда. Между тем приобретение практических приемов, даже разнообразных, не может бесконечно возобновляться, и их своевременное использование не может помешать тому, чтобы они становились рутинными у взрослого животного и не мешали его способности свободно организовывать свое поле деятельности. Наоборот, подвергая индивидуум влияниям среды, которая дала ему его модель, ритуальный жест, хотя и может иметь довольно низкий моторный уровень, становится инструментом деятельности по мотивам, настолько бесконечно возобновляемым, насколько эволюция обществ может их вызывать.

В действительности основное различие между этими двумя жестами заключается в том, что ограниченный в своей чисто практической деятельности, из которой, как полагают, возникло его техническое, а затем и научное знание, первобытный человек никогда не смог бы располагать ни символами, ни представлениями, необходимыми не только для того, чтобы зарегистрировать, сохранить, обнародовать свои изобретения, но и для того, чтобы воображать, понимать, анализировать, заставить их выйти за пределы видов простого конкретного пове-

дения, в котором материальные обстоятельства действия являются существенной составной частью его структуры. Напротив, самым грубым ритуалом является тот, в котором способ изображения и вещь наиболее неотчетливы, тот, в котором содержится с того момента, как он стал ритуалом, раздвоение действительности и представления о ней, обозримого результата и свойств, сил или принципов, которые должны включаться в действие для того, чтобы привести к этому результату. Тогда открывается совершенно новый цикл чисто воображаемых и умственных сочетаний, без которых люди не могли бы ни думать, ни познавать и без которых мир не мог бы быть изменен иначе, как через посредство простого мускульного действия.

Очевидно, то, что в процессе развития индивидуума позволяет интеллекту переходить из плана моторного в план умозрительный, не объясняется простым оперированием его двигательными умениями, комбинирующимися между собой для того, чтобы лучше приспособиться к многочисленным и изменяющимся требованиям действительности. Именно эти способности рода выражаются в действии, и особенно те, которые делают человека преимущественно социальным существом. Их влияние чувствуется с наиболее элементарных стадий поведения и движений человека. Но если данные способности заранее и предвосхищают возможность поставить двигательную деятельность на службу представлению, то тем не менее при помощи их нельзя это объяснить.

* * *

Именно в этом состоит иллюзия, распространенная среди психологов, которые полагают, что формы или трансформации психической жизни сводимы только к психическим факторам или элементам. Некоторые психологи даже считают своей обязанностью не признавать иного мнения. Без сомнения, психология сознания или интроспекции продолжает ограничивать свою область изучения. Но недоверие психологов к психическим и биологическим связям должно также основываться на справедливой критике первого положения, выдвинутого, в частности, и Тэном, сравнивавшего соотношения данных связей с соотношениями одного и того же текста на двух различных языках, где слова каждого соответствуют

строчке за строчкой словам другого. Поиски этого точного соответствия могут привести, в действительности, только к извращению и психического, и органического: так, ассоциация двух идей объясняется связью двух нервных элементов, а движение — сочетанием образов. Заставлять чередоваться таким образом обе системы — это не что иное, как играть в прятки с затруднением.

Каждая область — морфологическая, физиологическая или психическая — проявляется по-своему, может быть изучаема только с помощью соответствующей техники, имеет свои особые законы. Рост и строение органа обладают другими условиями, чем те способности, которые находятся в нем; тем не менее это не препятствует рассматривать сам орган между условиями результатов способностей. Для того чтобы подтвердить подобное соотношение, достаточно установить, что его бесплодность или нарушение соответствует исчезновению или изменению способностей. Но эта причинная связь не влечет за собой того, что обе серии должны соответствовать друг другу на всем их протяжении. Напротив, может быть, что события, объясняемые только при помощи одной серии будут являться причиной в какой-то мере случайного изменения, которое найдет в другой серии существенные отзвуки. Изменение органа под чисто вегетативными влияниями, его увеличение в объеме или такое же усложнение его формы делают его как бы приспособленным для новых функций в связи с другими формами поведения и жизни. Деятельность человека непонятна без социальной среды. Но человеческие общества не могли бы существовать без индивидуумов, обладающих такими способностями, как язык, предполагающий определенное строение мозга, потому что некоторые нарушения его целостности лишают человека речи, так же, как ввиду отсутствия мозга, подобного мозгу последнего, не существует другого известного вида животных, который имел бы систему знаков, бесконечно приспособляемых к новым значениям, какой являются человеческие языки. Следовательно, нельзя сказать, что человек создал общество или общество создало человека. Но при возникновении человеческого рода, возможно, имелся какой-то случай роста, какое-то изменение, причины которого относятся к гистогенезу, следствием которого была цивилизация. Таким образом, эволюция не является замкнутой

системой, в которой одни и те же факторы постоянно воздействуют друг на друга.

То же самое, несомненно, имеет место в развитии индивидуума. Он не обладает со дня своего рождения совокупностью рефлексов или восприятий, сочетания которых были бы достаточны для объяснения всего его последующего поведения. Из года в год вступают в действие части его нервных центров, изоляция и бездеятельность которых продолжаются до тех пор, пока миэлиновая оболочка не сделает проницаемыми для нервных импульсов волокна, соединяющие центры между собой. Это органическое созревание необходимо в функциональной эволюции. Оно каждый раз дает возможности, добавляющиеся к предыдущему материалу, но которые невозможно было бы из него вычленить как простой результат внутренних механизмов. Так протекает развитие ребенка, применительно не к тому, каков он есть, а к тому типу, который он должен реализовать как взрослый. В настоящее время немногие психологи отрицают значение созревания. Некоторые даже пытались прямо показать его очевидность, видя в его внезапных функциональных проявлениях несостоятельность учения, которое хотело бы предугадать это созревание.

* * *

Таким образом, стадии следуют друг за другом. Они не существуют, очевидно, для того, кто внимателен лишь к одним сочетаниям элементов, рассматриваемых как единственный материал психической жизни, и кто хочет здесь видеть точную преформацию того, что он считает необходимым типом зрелой мысли. Впрочем, даже было бы недостаточно описать все факторы, встречающиеся в каждом периоде, потому что менее важно их наличие, чем их связи и роль. То, что отличает одну стадию от другой, является особой манерой поведения. Несомненно, последовательная смена стадий настолько быстра в первые периоды детства, что в их границах можно видеть взаимодействие, а часто также и чередование. Тем не менее специфический характер стадий легко распознаваем, а их общая последовательность очевидна.

Первыми стадиями могут быть только те, которым наиболее чужды символическая способность и возможность представлений, так поздно появляющиеся в процессе эволюции. Однако в той мере, в какой ребенка

можно только ориентировать на человеческую и техническую среду, от которых в каждый момент зависят его пропитание и существование, стадии уже содержат в себе отражение связей, которыми слово и дар представлять вещи используются в качестве необходимого инструмента в человеческих отношениях.

Тот, кто наблюдает простые пищевые реакции и двигательное беспокойство ребенка, учитывает другую окружающую человеческую среду. С первых недель ребенок обнаруживает аффективную чувствительность, проявление которой постепенно организуется таким образом, что к 6 месяцам осуществляется целая система основных эмоций. Уже весьма рано улыбки ребенка поражают наблюдателей своим экспрессивным качеством. К. Бюлер даже утверждает, что с самого начала ребенок улыбается только, завидев человеческое лицо, что эти улыбки являются, следовательно, реакцией, специфически связанной с отношениями питания и людьми из близкого окружения ребенка. В самом деле, они очень быстро приобретают это значение; но первые улыбки, очевидно, появляются в состоянии такого субъективного благополучия, как, например, хорошее пищеварение. Тем более удивительно, что они почти тотчас же становятся заискивающими, благодаря связям ребенка с матерью.

Психическим признаком поведения ребенка в этот период является признак слияния с человеческой средой, от которой он в это время целиком и полностью зависит, будучи неспособен помогать себе, отправляя свои наиболее элементарные нужды. С этим основным условием существования ребенка сочетается быстрое и полное развитие его эмоциональных автоматизмов. Действительно, не заключается ли их важнейший результат в том, чтобы привести к соглашению тех, кто находится вместе в одной и той же ситуации, и вызвать у всех направленные к одному, дополнительные или обоюдные реакции [1]. Значение данных автоматизмов свидетельствует о их биологической основе. Они зависят от специальных нервных центров. Их появление у ребенка представляет собой факт созревания, результаты которого могут проявляться даже при отсутствии уловимой психической мотивации, как это бывает у отдельных идиотов,

---

[1] V. Encyclopédie français, v. VIII, sect. C, chap. I.

являющихся как бы средоточием эмоциональных приступов или вспышек, не оправдываемых, кажется, никакими существующими в данный момент обстоятельствами. Жизнь человеческого существа начинается аффективной или эмоциональной стадией, которая, впрочем, так хорошо соответствует общей и длительной беспомощности в его детстве, ориентируя его первые интуитивные движения к другим и ставя на первый план общение.

Следующая стадия, наоборот, обращена к физическому миру. Но прежде, чем стать стадией обращения с предметами, она должна осуществить обширную и дифференцированную согласованность между восприятиями и движениями. В своей наиболее простой форме это согласование является рефлекторным актом. На данное раздражение отвечает данная система мускульных сокращений, которая частично могла быть определена обстоятельствами, но которая остается той же самой, пока ситуация не становится ей прямо противоположной. Гораздо более разнообразные и свободные связи также можно обнаружить между перцептивной серией и двигательной. При общем щебете птиц их крики также кажутся монотонными для каждой из них и всегда одинаковыми для одинаковых раздражителей. Но при молчании других птиц дрозд просыпается ранним утром, а соловей ожидает ночи для того, чтобы слушать свои модуляции и учиться их разнообразить с помощью взаимного контроля над сокращениями голосового аппарата и эффекта, узнанного, а затем желательного для его слуха. Так устанавливаются чрезвычайно разнообразные и тонкие слухомоторные связи. Ребенок делает то же самое в период удвоения звуков и лепета, что заставляет его находить одновременно в своем фонетическом регистре и в своем слуховом регистре очень большое количество отчетливых звуков, многие из которых будут использованы в языке, на котором он заговорит. Подобные сенсомоторные упражнения продолжаются во всех моторных и чувствительных областях: тактильно-кинестетической, визиомоторной, слухофонической. Данные упражнения приводят к двойному результату, тесно связывая с ощущаемым эффектом собственные движения при их исполнении или систематическом варьировании и тем самым делая его лучше различаемым между другими. Вместе с взаимной координацией моторных и сенсорных полей происходит

функциональное упорядочение деятельности для предметных задач. Но эта стадия не является еще такой стадией, которая способна заимствовать свои темы из внешнего мира и использовать вещи согласно их собственной структуре[1]. Позднее приходит проекционная стадия[2], на которой моторное действие всегда регулирует появление и развитие умственных формаций. Речь идет больше не о создании аппарата сенсомоторных исследований, а уже о соединении действия с внешней реальностью. Между тем эта реальность достигается пока только через действие, направленное к ней. Она не вырисовывается четко в поле чистого представления, и ее связи — это связи, вводимые самими действиями, последовательность которых иногда случайная и всегда практическая или субъективная. Через эту систему, побеждающую систему ассоциаций между образами и символами, осуществляется контакт с вещами. Отсюда вытекает моторный аспект изображения, который, отрываясь от действия в собственном смысле, может все более воспринимать аспект изображения; однако он еще далек от него в чистом представлении.

* * *

Устойчивость проекционной стадии можно наблюдать в рассказах ребенка, когда он жестами распределяет вокруг себя вещи или обстоятельства, которые хочет вызвать в представлении, и в его играх, когда какие-либо объекты он представляет теми, с которыми он якобы манипулирует. Часто даже объект полностью оставляется и существует один жест. Одна маленькая девочка 26 месяцев начала сама подавать обед бабушке и дедушке. Она принесла столик, свой кукольный стул и одну тарелку. Все остальное было мнимым: жест, которым девочка якобы ставила вторую тарелку, клала ложку, изображение того, как она завязывала салфетку вокруг шеи дедушке. Она пошла в свою комнату, находящуюся рядом, как будто бы это была кухня, принесла суп, за ним — другие блюда; перед каждым блюдом меняла тарелки, она не забыла ни кислое молоко, ни варенье, ни минеральную воду; затем она убрала салфетки и пошла мыть посуду.

[1] V. L'Evolution psychologique de l'Enfant, II part., chap. I.

[2] V. L'Enfant Turbulent, Ire part., chap. III.

Другой ребенок 3;5 забавлялся тем, что мыл своего плюшевого медведя, но только представлял, что он намыливает его. Он делал жесты, которыми брал мыло, сжимал бутылку, открывал ее, тер, вытирал, не имея в руках ничего, кроме своего медведя. Следовательно, жест может делать отсутствующий предмет как бы присутствующим и заменять его. Иногда он может заменять также целый эпизод. Одна маленькая девочка 9,5 месяцев одевала на голову свой чепчик для прогулок и гуляла по коридору в день, когда шел дождь и нужно было оставаться дома. Два или три дня эта сцена возобновлялась в тех же условиях. Затем она вызывалась только одним видом чепчика.

Жест может еще быть средством для проведения аналогий, которые трудно было бы формулировать иначе. Маленькая девочка 22 месяцев, привыкшая с годовалого возраста махать ручкой в виде прощания, когда она шла спать или на прогулку, использовала тот же жест, если исчезал знакомый ей человек и перед своей книгой каждый раз, как страница, переворачиваясь, уносила картинку с кошкой или собакой. Благодаря перенесению субъективного на объективное то, что было знаком ее собственного ухода, стало относиться ко всему, что уходит. Через несколько недель после того, как она отворачивала голову, чтобы не обжечься ложкой слишком горячей каши, то же самое движение повторялось не только по отношению к кушанью, которое ей не нравилось, но и когда она была в плохом настроении или хотела играть. Привыкнув говорить «ку-ку», когда прятались на ее глазах или когда она была спрятана, она на 19 месяце вдруг вскрикнула «ку-ку» в присутствии человека, когда его лицо вновь появилось из-за журнала, чтением которого он был занят. Она делала то же самое, видя чью-нибудь голову, появляющуюся из рубашки, которую надевали на себя (примеры Вина).

Следовательно, посредством знака жест использует тенденцию соединять между собой различные впечатления. Ситуации, вместо того чтобы оставаться единичными, таким образом группируются (иногда более или менее смешано) в аналогичные серии тогда, когда стремятся к повторению того же самого действия, ставшего хорошо знакомым ребенку. Это уже является как бы генерализацией и способом изображения, если жест

направлен не столько на реализацию сцены, сколько на ее представление, и если выражение, данное им, не было всегда таким специальным, каким оно было бы при одном значении и которое стояло бы выше каждого из объектов и ситуаций, последовательно обозначенных им.

Глава II

ПОДРАЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Подражание — это форма деятельности которая, очевидно, с необходимостью предполагает связи между движением и представлением. Если подражание определить как действие, воспроизводящее модель, то представление модели является его необходимым условием; следовательно, возможность формирования представлений предшествует подражанию. Но оно проявляется у ребенка в очень раннем возрасте, когда эта возможность явно не существует. Другим определением, повидимому, более объективным, является вывод о простом сходстве между двумя действиями, если те, кто производит их, находятся в ситуации, в которой они наблюдают друг друга. Но оно тогда распространяется на случаи, в которых очевидная причина этого соответствия обязана другим влияниям. Впрочем, будучи даже достоверным, данное определение охватывает в действительности факты, относящиеся к очень различным этапам психического развития.

Значение этого соответствия заключается в том, что оно побуждает разрешить противоречие между своим определением, в которое неизбежно входит образ модели, и своим действительным появлением с возраста, в котором ребенок был бы совершенно неспособен регулировать на основе простого, внешнего для него, зрелища свои движения, вызывавшиеся до этого свободными побуждениями или соответствующими раздражителями и ситуациями. Итак, последовательные этапы подражания весьма точно соответствуют моменту, когда должно начать формироваться не существовавшее представление. Они побуждают обнаружить такое состояние движения, когда оно перестает смешиваться с непосредственными и практическими реакциями, вызывающимися обстоятельствами из автоматизмов этих реакций, и такое состояние

представления, когда оно уже содержалось в движении прежде, чем оно могло бы перейти в образ и ясно выразить те черты, из которых оно должно состоять.

* * *

Взаимное соответствие действий у существ, находящихся вместе, может иметь и другие причины, чем подражание. Только что вылупившийся цыпленок, который клюет рядом с курицей, кажется, следует ее примеру. Но цыпленок, вылупившийся в инкубаторе и не имевший модели, так же клюет при стуке кончика карандаша о стол или зерна, падающего с высоты. Это, следовательно, простой рефлекс, отвечающий на свой специфический раздражитель. Котята при виде мыши, кажется, соперничают друг с другом, догоняя ее. Это простое одновременное пробуждение одинакового инстинкта у всех, так как бывает, что у одних и тех же детенышей тот же самый эффект не наступает в одинаковое время. Джеркс (Jerkes) ссылается на одного четырехнедельного котенка, у которого был полностью выражен инстинкт: преследование, поимка, рычание, игра, казнь. Только в конце 2 месяца другие котята имели такие же реакции. Это результат функционального созревания, а не подражания.

Одним и тем же механизмом обусловливается возникновение весьма сложного и дифференцированного поведения. Благодаря тесным связям между ухом и гортанью певчая птица может сама вновь найти песню птиц своего вида. Этот факт не является точным, по крайней мере, для всех видов птиц, потому что довольно часто случается, что особь, изолированная от своих, или не поет, или же заимствует свою песню у другого вида. Тем более неприемлемо положение Ле Дантека, который объясняет речь человека рефлекторной связью между слухом и фонетическим аппаратом. Эту связь устанавливают повторные и такие разнообразные упражнения в лепете, которыми ребенок занимается в течение многих недель. Впрочем, подражание не возникает сначала из ничего. Оно появляется только в тот момент, когда дело касается повторения слов взрослых. Тогда появляется также способность придавать звукам смысл, что выражает не только сущность языка, но и ряд фактов, совершенно отличных от простых слухокинетических ассоциаций.

Идентичность целей также влечет за собой подобные действия у подобных существ, а конкуренция может способствовать их возникновению, например, у двух животных перед одной и той же добычей или одной и той же задачей. Собака сует морду в ту же миску или в ту же дыру, что и другая собака. Крыса приходит грызть в то место, где она видела другую крысу, которая рыла там (Берри). Обезьяна роется в дыре, куда только что совала руку другая (Киннерманн). Часто то же самое занятие, та же самая игра распространяются: один шимпанзе, который танцевал, привлек других, и они образовали вместе шествие гуськом, прыгая друг за другом (Келер). Это сходство жестов может быть модифицировано малейшими поисками: птица летит по следу той, которая открыла ей путь в воздухе; она следует за той, которая умеет открыть клетку и иногда приблизительно делает те же жесты, что и та (Портер). Так же поступает белая крыса, идущая за компаньонкой, способной найти выход из их тюрьмы (Берри).

Простой жест внимания способен направить внимание других особей на один и тот же объект. Собака легко смотрит в том направлении, в котором смотрит ее хозяин. Напротив, она только и знает прыгать около протянутого пальца, который указывает ей цель. Ребенок очень рано внимателен к тем же видимым или слышимым объектам, что окружают его (Гийом). Мало-помалу признаки внимания становятся для него сигналом, вызывающим с его стороны аналогичную позу. Реакция, которая была сначала связана или с совпадением поведения, или с наличием объекта, переносится, таким образом, на изолированный знак. Ребенок 22 месяцев сам протягивает руку в указанном направлении, спрашивая «там?» (Гийом).

Сопровождающие жесты являются также очень ранними. Прейер наблюдал, что его ребенок с первых недель поворачивал голову справа налево в то же самое время, когда лампа качалась перед ним, не для того, чтобы следить за ней глазами, потому что ритм его собственных движений был гораздо более медленным, чем колебания объекта, а благодаря своего рода перцептивно-моторному отождествлению, которое еще не может считаться подражанием. Гийом отметил, что ребенок 6 месяцев активно сочетает колебание с ритмом колеба-

ний, переданных его телу. Между 8 и 9 месяцами ребенок Прейера, наблюдая за крышкой кувшина, которую по очереди поднимали и опускали, делает рукой подобный жест. «В данном случае, — говорит Прейер, — дело не в подражательных движениях, а в движениях сопровождающих». В возрасте 0; 10(13) другой ребенок по очереди переступал с одной ноги на другую с тем же ритмом, что и его кормилица. В возрасте 0; 16(22) один ребенок, шагая за своими маленькими товарищами, которые шагали гуськом, держась за фартучки, акцентировал шаг в то же время, что и они. Именно эта восприимчивость, склонность к которой уже очень жива у грудного младенца, включает в игру качание и ритмичное колебание. Испытав это пассивно, ребенок ищет вновь того же наслаждения активно. Тогда достаточно малейшего внешнего случая, чтобы вызвать в нем потребность реализовать свои собственные ритмы и через их посредство согласоваться с окружающей средой и распространить свою субъективную восприимчивость на окружающие его объекты.

Подобным механизмом объясняется и заразительность зевоты. Она тем неудержимее, чем более субъект расположен к самопроизвольной зевоте благодаря обстоятельствам момента, вследствие состояния усталости или скуки. Но эти сопровождающие жесты могут постепенно и прямо подготавливать к подражанию. Например, Стрикер заметил, что, наблюдая за учением войсковой части, часто приходится испытывать мускульные ощущения, настолько живые, что как будто сам подчиняешься команде. Во время матча присутствующий ощущает возбуждение соревнующихся команд, и часто создается впечатление, что он внутренне сделал жест или исправил его, если была допущена ошибка. Когда канатный плясун, кажется, теряет равновесие, зрителю представляется, что он восстанавливает его сокращением своих мускулов. В момент, когда видишь гимнаста, отделяющегося от трамплина, в груди и в глазах появляется ощущение напряжения и движения. Охрипший оратор вызывает у своих слушателей потребность прочистить голос сдержанным кашлем. Декарт отметил, что в момент, когда певец доходит до предела объема своего голоса, своеобразное сопровождающее усилие увеличивает впечатление для тех, кто его слушает.

Эмоция является другой формой этого соучастия, которая также вызывает у присутствующих однородные или сочетающиеся реакции, но не развивается из подражания. Она имеет весь выразительный аппарат, распространяющий ее от одного к другому, устанавливает у всех соответствие слез, смеха, угроз, жестокости или паники. Сила вторжения эмоции, предшествующая всякому размышлению, приводит к тому, что ее внешние черты образуют целое со всеми одновременно моторными и вегетативными автоматизмами, составляющими ее каждый вид. Но если они являются неразрывными и если они влекут за собой, как только возникли, весь процесс эмоции, их заразительная сила сама по себе является силой экспрессивной системы, которая, как кажется, была создана для того, чтобы утвердить необходимую общность реакций в группах архаического типа, где связи между индивидуумами носили еще стадную форму. Таким образом объясняется то, что сила эмоции растет с числом ее соучастников, что ее развертывание устраняет всякую возможность суждения, размышления, интеллектуального расчета. Что функция эмоций рассматривалась, тем не менее, как полезная, — это ничто не может лучше доказать, как ритуалы и церемонии, которые были призваны у примитивных племен для того, чтобы заставить эмоции достигнуть своей крайней степени и смешать в одном водовороте всю жестокость, весь ужас, всю индивидуальную энергию.

Функциональным сходством автоматизмов, присущих каждой эмоции, вполне объясняется то, что подражание не вмешивается для того, чтобы вызвать сходные реакции у различных индивидуумов. Но как могла возникнуть их взаимная сенсибилизация, из чего следует, что проявление эмоций у одного индивидуума вызывает эквивалентные проявления у другого? Должен быть необходимый минимум обучения. Связи улыбок между матерью и ребенком — как бы рано они ни установились — предшествовали улыбки, в которых проявлялось только вегетативное благополучие грудного ребенка. Этому благополучию всегда до такой степени способствуют заботы матери, сопровождающиеся улыбками, что между двумя улыбками скоро отбираются, фиксируются, специализируются связи из всех других улыбок. Говоря более общо, эмоция сначала испытывалась вместе под влиянием

потрясения при данном событии, в данной ситуации, способной возбудить одинаковые автоматизмы у всех присутствующих. Таким образом, могло возникнуть слияние того, что одновременно распознается в другом и ощущается в себе самом. Переход от одного к другому быстро становится почти неизбежным.

Влияние, которое оказывают друг на друга те же индивидуумы, участвующие в одних и тех же событиях, ведущие одинаковый образ жизни, живущие в одной и той же окружающей среде, является чрезвычайно неуловимым и тонким. Оно может быть связано с местами или обстоятельствами, которые вновь могут вызвать следствия, кажется, уже стертые временем. Эльза Келер рассказывает об одной маленькой девочке, в акценте которой в возрасте 2;7 обнаруживались очень тонкие вариации в зависимости от того, обращалась ли она к своей матери, берлинке, к своему отцу, венгру, или к своей няне, говорившей на верхненемецком. В возрасте 3;1 эта девочка, войдя в комнату, где 6 месяцев тому назад она встретилась с маленькой девочкой, у которой был чешский акцент, сама вновь восприняла этот акцент и притом сейчас же вспомнила свою подружку. Таким образом, у ребенка создается синкретическое объединение впечатлений и реакций, заставляющее его при случае как бы оживлять в памяти персонажи или отдельные черты различных персонажей, соответственно тем ситуациям, в которых они находились, или месту, где они встречались. В этом «пропитывании» окружающей средой имеется что-то, напоминающее подражание, но это подражание без образа, иначе говоря, без модели, диффузное, не знающее самого себя, своего рода простой миметизм.

* * *

Отношения сходства или соучастия с окружающим в этой деятельности разного рода предвещают настоящее подражание. Между тем несколько авторов, вслед за В. Штерном, хотели бы заставить исходить подражание из того, что они называют «подражанием самому себе». Все та же иллюзия об одиноком «я», действия которого являются якобы автогенными и которое постепенно распространяет их, устанавливая связи со сре-

дой. Но одного, много раз отмечавшегося факта, вероятно, было бы достаточно для того, чтобы показать, какое расстояние разделяет акт подражания другим от акта повторения самого себя. С 11 недели, согласно Скюпену, и с 15, согласно Прейеру, после того как ребенок самопроизвольно показал матери язык или сделал гримасу перед зажженной свечой, он становится способным повторить этот жест, видя кого-либо из окружающих, которые производили его почти сейчас же вслед. Вмешательство другого только заставляет вступать в реакцию предрасположение совершить тот же поступок, который сохранился в движении как своего рода след или последовательная тенденция. Здесь не может быть и речи о подражании. Действительно, когда только на 7 месяце ребенок сумеет воспроизвести свою гримасу по образцу другого, то и тогда его подражание остается в большой степени подчиненным самопроизвольному действию. Подобное же замечание следует сделать относительно звуков; они появляются гораздо позднее и более ошибочны, когда их повторяют после того, как они были только что услышаны, чем тогда, когда их услыхали незадолго после произвольного произнесения. Движение в своей видимой материальности не составляет действия. Одно и то же движение может соответствовать весьма различным уровням деятельности. Именно целое, часть которого оно составляет, передаточный механизм, от которого оно зависит, классифицируют его функционально. Одно — показывать язык, подражая или самопроизвольно, а другое — показывать его по словесному приказу: у маленьких или отсталых детей часто можно получить этот жест только в том случае, если сделать его перед ними.

Повторение может иметь нечто неудержимое. Оно встречается у взрослых в то время, когда двигательное возбуждение имеет значение для чисто автоматических функций среднего мозга. Это *паликинезия*, или повторное воспроизведение едва сделанного жеста, и *палилия*, или повторение фразы, произнесенной самим. Число повторений непостоянно. Оно может достичь 10 или 15. Мало-помалу повторения уменьшают величину и сокращаются. Является ли это исчерпыванием или постепенным торможением начального возбуждения, которое не смогло целиком использовать первое действие? Несомненно, также здесь имеется тенденция к повторяю-

щимся движениям, не поддающаяся прекращению тогда, когда нарушаются некоторые нервные связи. Нормально она могла бы использоваться, в частности, в ритмических жестах. Нервные центры, пораженные в случае паликинезии, действительно являются теми, которые регулируют течение автоматизмов, а двигательные возбуждения, сопровождающие ее, затрагивают регуляцию тонуса, связи которого с тонкими изменениями жеста весьма тесны. Таким образом, существует повторение жеста, свойственного, повидимому, своему внутреннему механизму. Следовательно, паликинезия — это функциональный уровень, уступающий в большой степени функциональному уровню движений, производимых намеренно или в соответствии с воспринимаемым, или с мысленным образом.

Это нельзя уподобить подражанию самому себе фактам *персеверации*. Вторичное появление того же действия или тех же фраз и тех же выражений в таком случае более не походит на размыкание испорченного механизма, который невозможно было бы подчинить себе. Она больше связывает психическую деятельность. Несомненно, это еще одна моторная формула, которая неизбежно может, таким образом, помешать правильному и быстрому исполнению начатого действия или мысли. Но это всегда действие или мысль, которую эта формула продолжает выражать, даже в том случае, если она в данную минуту становится препятствием. Персеверация существует или возвращается только в силу какого-то недостатка в умственной формулировке, который часто вытекает, впрочем, из обычного состояния психической тупости и дебильности. За исключением случаев кратковременной рассеянности, персеверация, действительно, нередко является следствием недостаточной дифференцировки между мысленным формулированием и двигательным. Она обычна на проекционной стадии, когда мысль не может навязываться сознанию иначе, как реализуясь через жест или слово. Персеверация — это задержка на уже достигнутом этапе, когда продолжение запаздывает; она представляет собой бессилие при отклонении жеста или выразившегося слова для того, чтобы продвинуться вперед в процессе понимания; она указывает на отягощение мышления конкретным выражением и недостаточность эллиптических

образов или символических знаков; она — результат мысли, еще не полностью освобожденной от своей сенсорно-моторной оболочки. Но персеверация ни в какой мере не является копией образа через движение, а скорее, наоборот, образом, заключенным в движении.

Под «подражанием самому себе» Штерн понимает скорее механизм, аналогичный механизму циклической реакции, включающемуся в действие на сенсомоторной стадии. Сенсорный эффект, случайно произведенный жестом, влечет за собой повторение этого жеста, которое имеет тенденцию воспроизвести его с наибольшей точностью или с наибольшей чистотой. Таким является механизм, при помощи которого Болдуин хотел объяснить всю адаптацию, взяв в качестве ее образца сенсорную аккомодацию: следствием движения глаза является возникновение образа на сетчатке. Глаз сейчас же повторяет движение, для того чтобы вновь найти то же положение, затем его кривая, разведение осей глазных яблок, изменяется до тех пор, пока от образа к образу не будет достигнута наибольшая четкость. Так, на протяжении всей психической жизни происходит согласование движений и образов, поведения и действительности... Здесь есть нечто, значительно выходящее за пределы подражания и совершенно на него не похожее, если не предполагать, что воспринимать образы предметов — значит им подражать.

Но циклическая реакция может быть взята в более субъективном и более строго психологическом смысле. Таким образом, она дает место сенсомоторным упражнениям, отсюда вытекает постепенное приспособление жестов к сенсорному эффекту. В то же время происходит более точное и более тонкое отождествление этого эффекта с теми, которые способны произвести другие, более или менее разнообразные жесты. Здесь дело касается обучения, которому ребенок от 1 до 2 лет предается с истинной жадностью. Его суть заключается в функциональном значении. Но можно ли называть подражанием это взаимодействие между жестом и ощущением? Оно продолжает их согласование, оно не предлагает им никакой модели, даже никакого образа, отличавшегося бы от их часто меняющихся связей, потому что искомый эффект далек от того, чтобы всегда быть эффектом простого повторения, единообразия. Он бывает часто, как

раз наоборот, в смысле разнообразности, модуляций. Впрочем, единообразие само по себе не означало бы ни сходства с некой моделью, ни раздвоения между каким-то идеальным типом и настоящим экземпляром.

То, что лежит в основе циклической реакции, является усвоением жестов либо в субъективной, либо во внешней ситуации, либо поисками некоторых координаций, установлением некоторых сенсомоторных структур. Становление сенсомоторной пары следует закону развития, который можно раскрыть, изобрести в каждый момент, не включая чуждый предмет. Достаточно того, что изменение жеста влечет за собой новую дифференциацию, новую способность к различению в области чувствительности, а чувствительность, в свою очередь, — наибольшую тонкость движений. Так образуется все более богатая клавиатура сенсомоторных связей. Но, не будучи следствием подражания, она не сразу используется в подражании, результаты которого сначала гораздо более несовершенны, чем уже сложившиеся результаты циклической реакции. Оно требует иного обучения.

* * *

Однако к циклической реакции следует отнести факты, часто описываемые как подражание, и как подражание другим, а не самому себе, но которые четко отличаются от него своим механизмом, несмотря на некоторое формальное сходство. Речь идет о реакциях — отзвуках: эхокинезии, эхомимии, эхолалии. В этих случаях рассмотрение жестов или слушание звуков вызывает у того, кто их воспринимает, немедленное и буквальное повторение их. Но поразительно, что воспроизводятся одни последние жесты или звуки, как будто восприятие, пока оно продолжается, мешает реализоваться движениям, которые отвечали бы его последовательным моментам. Результаты же соответствуют впечатлению, которое производит эхо, возвращая только те звуки, за которыми следует тишина.

Уже давно противопоставляют друг другу интерпретации феномена эхо Вернике и Пика. Для Вернике речь идет о психомоторном факте с исходной кортикальной точкой; иначе говоря, повторение заключается в повторении сенсорного образа, воспринятого и познан-

ного сознанием прежде, чем был приведен в действие двигательный аппарат. Наоборот, согласно Пику, здесь дело касается подкорковой или автоматической реакции, распространяющейся вовне, не будучи заторможенной. Действительно, данная реакция происходит у взрослого только в сумеречном состоянии, когда сознание, зависящее от кортикальной деятельности, целиком помрачено. Тогда эта реакция встречается одновременно с рефлекторными движениями защиты и бегства, возникающими каждый раз при появлении в зрительном поле нового объекта. Это элементарные автоматизмы, которые также освобождаются вследствие отмены кортикального контроля. Действия, возникающие подобно эху, являются движениями, которые этим контролем в нормальном состоянии превращаются в самые незначительные и неощутимые, но которые соответствуют скрытой деятельности, относящейся к сфере автоматизмов.

Разумеется, положение Пика гораздо лучше согласуется с клиническим наблюдением, чем положение Вернике. Эхопраксия предполагает деятельность, лишенную своих психических мотивов, своей сознательной регуляции; она возможна только в состоянии умственного расстройства, доходящего до общей интеллектуальной тупости. Тем не менее здесь существует различие. Обычно описываемые автоматизмы состоят из реакций, направленных на внешний мир. Уже реакции защиты и бегства, относящиеся к наиболее субъективным автоматизмам, появляются в качестве ответа на посторонние агенты и кончаются изменением в связях субъекта и того, что его окружает. Гораздо более объективными автоматизмами является большинство других автоматизмов, представляющих собой наиболее спонтанные и наиболее текучие формы деятельности в ее повседневных связях с вещами, ситуациями, силами, составляющими среду, в которой необходимо двигаться. С эхопраксией происходит нечто совершенно иное. Она не является ни центробежной, ни полезной. Ее ответы на возбуждения являются их дубликацией, зеркалом. Эхопраксия обращена к ним, а не к полезному изменению связей с окружающей средой. Она относится более к замкнутому сенсомоторному кругу, чем к автоматизмам.

Здесь для нас все равно, является ли слишком абсолютным проводимое Пиком различение кортикальных и

подкорковых деятельностей. Даже если нет автоматизмов, которые могли бы существовать без некоторого сопровождения кортикальной деятельности, верно, что равновесие может быть обратным между двумя очагами деятельности, одновременно сопряженными и противоположными, в зависимости от того, является ли действие обдуманным, обсужденным, выражаемым в символах или образах или связанным с внешними обстоятельствами простым исполнением движений. Эхопраксия, кажется, находится на полпути между двумя очагами деятельности в том смысле, что восприятие представляет собой не только причину, но также и мотив реакции, между тем как реакция вместо того, чтобы развертываться в образах объекта, стремится только к движениям, способным воспроизвести ее. Ничто так не походит на циклическую реакцию, кроме этого отличия, как восприятие, из которого исходит жест, дано жестом другого, вместо того чтобы исходным здесь был бы жест самого субъекта.

В развитии ребенка эхопраксия очень близка к его сенсомоторным упражнениям. Повторения ребенка, буквальные и немедленно следующие за последними слогами, произнесенными окружающими его людьми, могут быть весьма отдалены от возможности использовать их как элементы языка. Еще более знаменательно, что в промежуток времени, когда ребенок упражняется в составлении слов из слогов, наблюдается наибольшая неловкость, грубость и бедность звуков. Это происходит тогда, когда фонемы должны быть включены в новые формы деятельности и одновременно вновь изучены. Эхолалия относится не более к произнесенному слову, чем к подражанию. Она гораздо лучше объясняется как прямое следствие связей, установленных цикличной деятельностью между сериями восприятий и движений. Поочередный переход от одной серии к другой кончается тем, что дает элементам каждый раз как бы амбивалентность; движение становится настолько же следствием восприятия, как и его антецедентом. Наступает момент, когда связь становится настолько обычной и тесной, что цикл может намечаться восприятием, даже если оно постороннего происхождения. Здесь появляется возможность переводить в движение образы или мысли. «Мысли-силы» — это не природные силы, это результат обучения.

Эхопраксия — циклическая деятельность, круг которой раскрывается впечатлениям, возникающим из внешнего источника. Она является простым отголоском этих впечатлений в сенсомоторном аппарате. Эхопраксия — это не воспроизведение образа модели, а ряд неких фрагментов и как бы эпифеномен. Вместо того чтобы мотивироваться представлениями, она предполагает их ослабление. При отсутствии помрачения сознания, она требует рассеянности, момента отсутствия. Часто лишь после повторения субъект замечает испытанное впечатление. Иногда даже необходимо внезапное ощущение присутствия постороннего, чтобы субъект вышел из состояния полусна, которое превратило его в эхо. У ребенка стадия эхо очень скоротечна, потому что довольно короток период, когда он остается связанным со своими сенсорными впечатлениями как таковыми. После того как звук в результате своего воспроизведения стал легко уподобляемым, он сам по себе больше не интересует ребенка. Звук служит теперь только указателем или знаком. Интерес мгновенно переносится или на объект, присутствие которого он обнаруживает, или на произнесенную фразу. Его функциональная и игровая стадия вытесняется тогда стадией утилитарных и объективных значений.

В эхолалии мы находим наиболее очевидные и наиболее полные примеры для изучения фактов эхо. Направление, которое она дает реакции, явно противоположно направлению, которое могло бы управляться ситуацией. Существуют два способа отвечать на приказ: 1) его выполнение — реакция центробежная, соответствующая обстоятельствам, требующая понимания; 2) его повторение, означающее непонимание, которое может в некоторых случаях быть простым предлогом отказа, но которое обычно является результатом рассеянности или слабоумия. Каждый раз, когда впечатление отрывается от своего мысленного отражения и остается изолированным в сенсорной сфере, проявляется его моторный эквивалент, который тесно связан с ним, как с тем, что его определенно специфицировало в сознании в течение сенсомоторного периода. Эхолалия не выходит за пределы сенсорной сферы. Последовательные впечатления проявляются в жестах в той мере, в какой восприятие, продолжаясь, не подавляет первые впечатления более новыми. Так, одни более новые впечатления могут объекти-

вироваться в движениях. Число данных впечатлений строго ограничено временем их существования в сенсорной сфере. Несомненно, их воспроизведение часто весьма очевидно указывает на своего рода мелодический или ритмический ряд, составляющий единое целое этих суммированных членов. Но это единство имеет как бы предел меры в сенсомоторном становлении. Оно совершенно чуждо единству образа или представления. Интеграция, происходящая между элементами действия, подобного эху, имеет осязательный и динамический характер; она не является интеграцией черт, составляющих образ модели. Эхопраксия и подражание развертываются в двух различных планах.

* * *

Подражание вплетается между двумя противоположными элементами: слиянием, уходом от себя в вещь или «соучастием» в объекте и удвоением действия, выполняемого вместе с моделью. Этим непреодоленным противоречием объясняется противоречие в учениях, рассматривающих значение подражания в психическом развитии и природу самого подражания. Согласно Гильому, подражание неспособно создать никакого нового движения [1]. Оно является только поводом повторять те движения, которые уже научились производить, наделяя их зрительным или слуховым образом в качестве мотива модели. Следовательно, оно содержит в себе одновременное существование уже сформированных жестов и образов. Их соединение само по себе является скорее эмпирическим, чем результатом новых связей и функциональной интеграции. Подражание представляет собой факт совершенно внешнего согласования между уже образованными элементами. Нельзя говорить, как это делают некоторые, о внутреннем подражании. «Что обозначает это слово, как не подражание, материальная реализация которого была прекращена неким мысленным усложнением таким образом, что оно предполагает примитивное действительное подражание?» Предполагать в подражании другие антецеденты, чем очевидные жесты и их наличные причины — значит только «смешать причины в туманном понятии общего инстинкта».

[1] P. G. L'imitation chez l'enfant, Paris, Alcan, 1925.

Действительно, обоснование этого внутреннего подражания Гросом, Липпсом, Финнбогасоном (Finnbogason) является туманным и гипотетическим. Согласно Гросу, ребенок начинает объективировать в неодушевленных предметах, например в своей кукле, ту деятельность, которую он ощущает в самом себе, или ту, которая могла бы служить дополнением к его деятельности. Эта проекция должна была бы отвечать анимистической фазе представлений ребенка. Это центробежная концепция анимизма, которая исходит из позиций, уже пройденных психологией. Субъект, вместо того чтобы самому быть непосредственным и первоначальным источником знаний, из которого он черпал бы интуицию, применимую к внешней действительности, начинает смешиваться с окружающей средой благодаря своей чувствительности. Именно благодаря связи со средой он начинает не только жить, но и ощущать свою жизнь. Из этой первоначальной смеси субъект должен извлечь то, что ему нужно усвоить для того, чтобы осознать свое «я» и чтобы противопоставить его тому, что одновременно ему покажется присущим тому, что не есть он сам. Но при этом разделении субъект оставляет в вещах остаток своих субъективных впечатлений и тем самым превращает их в существующие в его образе.

За второй стадией, как бы противоположной стадией, ребенок воспроизводит образ, который был вложен им в вещи для того, чтобы лучше представлять их самому себе, используя свои движения, привычки, свое собственное тело в качестве символов, способных наделить вещи своего рода действенным присутствием. Действуя каким-либо предметом, например палкой, изображающей между его ногами лошадь, с бумажным колпаком на голове, ребенок играет в генерала. Он создает себе впечатление, будто он локомотив, с помощью механических движений своих рук и ног, своих звучных и ритмичных выдохов. Так, подражание становится следствием субъективного образа, отразившего имитируемую вещь и отсюда почерпнувшего свои пластические элементы.

Таков субъективный источник, который Липпс приписывает подражанию. Существует якобы естественная, инстинктивная тенденция поступать так, как это делает другой, а также ощущать и воображать себе чувства

другого. Автоматическими следствиями этого вкладывания себя в другого или скорее другого в себя, получившие названия вчувствования (Einfühlung), являются позы или жесты, соответствующие чувствам каждый раз, когда они не тормозятся противоположной силой. Таким первоначальным фактом будет движение, связанное с внутренней интуицией. «Внутреннее подражание» — это лишь фактическое подражание, которое могло бы быть вторично отделено от своих кажущихся следствий. Здесь нет ничего, что могло бы быть использовано для объяснения внутреннего подражания. Что касается вчувствования, которое якобы дает подражанию свой мотив, не показывая механизм подражания, то оно заменяет как бы абсолютное понятие инстинкта поисками связей между индивидом и его окружением, откуда могли бы исходить его желания, усилия и способности к подражанию.

Эта теория является тем не менее теорией, которую восстановил Финнбогасон, расширив ее применение. Объектом подражания могут быть не только живые существа, но также и неодушевленные предметы. Руке точно так же свойственно обрисовывать форму живых существ и вещей, проводя по их очертаниям, как и мимическим или пластическим позам тела. Спектакль, какой бы он ни был, но веселый и увлекательный, кажется, отвлекает нас от всего того, что к нему не относится. Наступает забвение себя и отождествление со спектаклем. Его детали, его перипетии становятся нашей чувственностью, нашей жизнью. Границы «я» и «не я» как будто стираются, «я» трансформируется в объект. Тогда все, что может ощущаться или быть исполненным, кажется, соотносится с ним, а моторные реакции являются теми, которые он может привести в действие. Но, вынужден заметить Гильом, то, что вытекает отсюда, представляет собой жесты сопровождения или восстановления, как перед колеблющимся эквилибристом или охрипшим оратором. Движения зрителя не являются воспроизведением тех движений, при которых он присутствует; это скорее те движения, которых он ожидает или которые ему кажутся подходящими для исправления ошибки, для улучшения положения. Это замечание справедливо, если речь идет о немедленных реакциях. Действительно, остаточная поза — поза перцептивного приспособления, распространяющегося на весь организм. Это пластические позы, ми-

мика, кончающаяся моментальным прекращением всех других моторных проявлений. Истолковывая вслед за Липпсом эту остановку как деятельность, лишенную своей объективизации, как последовательный эффект, Финнбогасон ставит факторы в обратном порядке.

Итак, имеется некоторая доля истины в описании внутреннего подражания, данном этими психологами. Но они не знают другой альтернативы, кроме движения и его образа. Образ предполагает объект. Он сохраняется после объекта, как след, который оставило его присутствие. Следуя за движением, образ не может объяснить его. То, что предшествует ему, подготовляет его, является чем-то иным, положением или позой, которые также могут сопровождаться восприятием их самих. Погружаться в созерцание спектакля — не значит оставаться пассивным. Возбуждение не остается чисто церебральным. Оно распространяется в мышцах. Хотя мышцы могут и не выполнять никакого движения, они представляют собой тем не менее место деятельности, которая иногда интенсивно ощущается субъектом, несмотря на то, что незаметна для других. Это впечатление не является чистой иллюзией. То, что служит причиной впечатления, может быть установлено, зарегистрировано. Это сокращение мышц, которое не доходит до их укорочения, но держит их, напротив, в состоянии, имеющем место в данный момент, и придает им различную степень плотности, сопротивляемости перемещениям. Это тоническая функция мышц.

Физиология показывает, что тонус — не простое явление, что он имеет или составные части, или различные формы в зависимости от центров, из которых он в данный момент получает импульс, что его функции также различны. Тонус сопровождает движение, оказывая ему поддержку, необходимую при его равномерном постепенном развитии в точных дозировках, которые могут требовать встречаемые сопротивления. Широко распространенный по всему телу тонус обеспечивает необходимое равновесие при выполнении каждого жеста, осуществляя или устойчивую, или подвижную позу, соответствующую различным фазам действия. Это происходит таким образом, что, будучи опорой совершающегося движения, тонус подготавливает последующее движение, содержа его в потенции и эта роль может устранить само движение.

В этом случае тонус замещает движением неподвижность, но такую иногда полную мускульного напряжения неподвижность, какой бывает неподвижность подстерегающего животного, какой может быть неподвижность бегуна, когда сигнал старта вот-вот будет дан. Быстрота, сила жеста, который должен быть сделан, существуют в этот момент потенциально в мускулах, отвердевших и напряженных, подобно пружинам; форма жеста уже обрисована распределением тонуса в мускульном аппарате. С этим приспособлением для предстоящего движения тесно сочетается приспособление перцептивного аппарата, который также направлен к цели или добыче независимо от того, присутствует ли она или только ожидается, выведывается. Добыча как бы обрисована в позе животного вместе с жестами, нужными для того, чтобы схватить ее. Тоническая функция может, таким образом, соединять два полюса деятельности — сенсорный и моторный, придавать им ту же выжидательную ориентацию и становится одновременно пластической и насыщенной энергией. Она временно останавливает жест, но подготавливает его в зависимости от всех перцептивных возбуждений, которые субъект воспринимает с большим или меньшим интересом или горячностью.

Слияние с объектом при созерцании увлекательного зрелища, при вчувствовании становится, таким образом, чем-то другим, кроме гипотезы или эпифеномена. Это состояние, которое слагается из чувствительности и движения в форме позы. Оно имеет двойное свойство, будучи одновременно или поочередно подготовкой к действию и ожиданием, преддвижением и предвосприятием. То одна, то другая из двух фаз может взять верх. Когда животное устремляется на свою добычу, возбуждение обращается к среде, для того чтобы изменить ее с помощью центробежного процесса в соответствии с нуждами или с намерениями субъекта. Когда делаются жесты сопровождения или восстановления, действие становится простым соучастием; оно остается замкнутым в области поз, и субъект является лишь присутствующим, но движение всегда готово к возникновению, стоит только, чтобы появилось несоответствие между реальным жестом, инициатива и исполнение которого, так сказать, перепоручены другому, и позами, которыми субъект подчеркивает и сопровождает его. Наконец, всякое явное движение может быть задер-

жано, но деятельность позы далеко не исчезает, и именно из нее может исходить подражание.

Действительно, все подтверждает, что внимание, которое ребенок уделяет интересующим его зрелищу или объектам, не только не является пассивным, но и не исчезает, как бы долго оно ни давало результатов. Когда ребенок видит наличие вещей, он находится в состоянии перцептивно-моторной импрегнации. Согласно Конради, подобно тому, как и у воробьев, которые научаются пению чижа по немым движениям горла, слушая его, у ребенка также его мускулатура находится в работе в течение всего времени, когда он смотрит или внимательно слушает. Часто это только незаметные сокращения. Но они кажутся повторяющимися в интервале восприятий и кончаются, наконец, более или менее неуверенными, более или менее успешными пробами воспроизведения. Интервал между импрегнацией и воспроизведением может длиться несколько минут, несколько часов, несколько дней или несколько недель. Но чем он дольше, тем более инкубационная фаза подтверждает значение немого обучения, происходящего в промежутке между начальными восприятиями и усвоением нового жеста.

Продолжительность этого интервала в некоторых случаях можно весьма ясно уловить. Иногда только два или три дня спустя после того, как ребенок был в цирке, он пытается сам кувыркаться, подобно клоуну. В 2 года ребенок Прейера повторил колыбельные песни, которых никто не знал в доме. Оказалось, что он выучил их у служанки, которая ушла из дому за три месяца до этого. Иногда разница между подражанием и восприятиями ребенка, имеющими место в данное время, дает возможность обнаружить, что они берут верх над более ранней моделью. Граммон приводит пример, когда у одной маленькой девочки новые слова появлялись с итальянскими окончаниями, тогда как гувернантка девочки, итальянка, оставила девочку уже шесть недель тому назад. Импрегнация не только предшествует, но и может далеко выйти за пределы существующей в данное время возможности воспроизведения. Штерн констатирует, что очень быстро число слов, понимаемых ребенком, начинает намного превышать число слов, которые он умеет повторить.

В подобных случаях подражание, представляющее собой действительно начальное, не может быть подража-

нием в буквальном смысле слова. Оно — не точная копия модели, образ которой находится в данное время перед глазами или в уме. Оно предшествует представлению. Это подражание — приспособление жестов к прототипу, обладающее не внешним обликом, а скрытой потребностью, порожденной впечатлениями, являющимися часто сложными по своему происхождению и вместе слитыми в аппарате, в который они постепенно вводятся в качестве стимула непрестанно подтверждаемых и улучшаемых черновых набросков. Производная от них одна, но это еще только конкретная и скрытая возможность, которую лишь действие, воспроизводясь, раскрывает самому себе. Это еще не представление.

Без этой начальной связи восприятия с движением через посредство тонической функции или функции положения переход зрительных или слуховых впечатлений в соответствующие жесты был бы необъясним. Несомненно, впечатления, установившие таким образом контакт с двигательной системой, могут вновь обрести сенсорно-моторную циркулярность. Но использовать это можно только относительно, потому что обучение подражательным движениям предполагает связи и тип организации, которые происходят в более высоком психомоторном плане. Они становятся возможными только после чередующейся фазы сенсопостурального соучастия с другим и постурожестикулятивной разработки. Так посредством другого человека приобретает свое конкретное значение реакция подражания, которую Грос интуитивно угадал. Деятельность обязана ему новой ориентацией. Вместо того чтобы стремиться исключительно к внешнему миру для изменения в нем соотношений, деятельность превращается в изменение самого субъекта, реакции которого формируются не только одними необходимыми требованиями среды, но и в соответствии с внешними моделями. Происходящее превращение является превращением непосредственно полезной деятельности в умозрительную деятельность.

* * *

Подражание не появляется до 2 половины 2 года, потому что невозможно связать с подражанием ни улыбки, которыми ребенок обменивается с матерью, ни

его лепет, когда он слышит пение, ни повторение жестов или звуков, которые он начинает производить сам, когда они, кроме того, воспроизведены перед ним. За этими реакциями, появляющимися между 3 и 4 месяцами, следуют к 6 или 8 месяцам такие условные жесты, как хлопанье ручками, приветствие, поворачиванье кулачков, для того чтобы делать марионетки, стучание по виску, угроза пальцем. Как справедливо замечает Гильом, мы имеем здесь дело с простыми ответами на привычный сигнал, что приобретено дрессировкой с помощью таких различных способов, как пассивные движения или отбор спонтанных движений ребенка. К тому же времени наблюдаются сопровождающие жесты, чаще всего ритмические, перед колеблющимся предметом или каким-либо чередующимся движением. Немного позже, к 9 месяцам, начинаются проявления эхокинезии.

Затем проходит довольно длительное время, прежде чем могут быть отмечены факты подлинного подражания. Детей (Detaille) относит начало того, что он называет «подражанием-копией», к двухлетнему возрасту. Гильом приводит факт подражания походке товарища при ее преувеличении, который имел место в возрасте 1; 4 (22). Но из его собственных примеров следует, что нужно ждать 22 месяца, чтобы видеть, как ребенок воспроизводит движения поднятия рук, протянутых на высоте плеч, вбок или вперед, когда он находится в этой позе, вытягивает предплечья вертикально или кладет руки на плечи, движения поднятия ноги с согнутым или вытянутым коленом, наклонения туловища вперед, назад, в сторону, приседания, положив руки на бедра, наклонение головы вперед, затем назад, направо, потом налево. Все эти упражнения, выполненные сразу же или после нескольких проб, предполагают уже весьма совершенную и хорошо размеченную «телесную схему». Действительно, в этом возрасте сенсомоторные игры ребенка приводят его к установлению более обширных и более разнообразных связей между сенсорными или *экстероцептивными* полями и постуральными или *проприоцептивными.* Это активные коннексии, то есть такие, которые не ограничиваются сложением связей, просто наложенных друг на друга, но являются результатом непостоянных поисков и содержат, следовательно, некоторую степень предвидения или дедукции. Этим объясняется та доля интуиции или

выдумки, которую предполагают успех данных новых подражаний. В том же самом возрасте ребенок хочет прыгать, видя, как прыгает его брат, но остается в начальной позе. В 1 ; 11 он копирует комическую походку своего брата животом вперед или же манеру сидящего человека, положившего ногу на ногу, или жест ребенка, который держит большой палец во рту и другой рукой за ухо. Хорошо владея теперь своим телом и своими движениями, ребенок находит удовольствие в том, чтобы делать из этого инструмент, воспроизводящий то, что он видит около себя.

Чтобы появилась та другая форма подражания, которую Детей называет «воображаемым подражанием» (драматическое подражание американцев), необходимо ждать до тех пор, пока ребенок не достигнет 3 или 4 лет. Она совпадает в этом возрасте с «кризисом личности» [1]. В той мере, в какой ребенок испытывает желание утвердить самого себя, он интересуется другими личностями как таковыми; он проявляет это, подражая им, что одновременно является стремлением лучше узнать их и попыткой лишить их преимуществ.

Подражание, включаясь в поведение, получает его отпечаток и представляет собой только одну из его возможностей. Таким образом, начиная с 6 лет подражание становится *рассуждающим* и *размышляющим*. Постепенно отдаленные интересы заменяются непосредственными интересами. Ребенок подражает для того, чтобы расположить к себе, получить награду или ласку. Подражание становится в большой степени признаком симпатии, чем непосредственной реакцией симпатии.

Коффка считает, что различие между подражанием ради подражания и подражанием мотивированным является основным. Одно подражение он называет *спонтанным*, а другое — *разумным*. При первом субъект кажется стушевавшимся перед воздействующей на него моделью. Но сама модель смешивается с подражательным действием или, по крайней мере, она не может быть ему противопоставлена как внешний объект, на который следует реагировать. Сама модель составляет сущность. Это побуждает модель действительно реализоваться в

---

[1] V. H. W. Les Origines du caractère chez l'Enfant, III[e] part., chap. VI.

интересах дополнения и установления согласования в психомоторном аппарате, в котором она возникла в форме восприятия. В действительности, согласно *гештальттеории,* или теории формы, вдохновителем которой был Коффка, всякая реальность, всякое действие состоит из структур, то есть составляет организованные совокупности, благодаря которым и получают свой смысл и свое определение детали или элементы, вместо того чтобы они определяли бы своими собственными свойствами природу совокупности. Каждая структура имеет некоторый закон организации, который может и должен распространяться на различные области. Перцептивная структура может и должна иметь свои моторные эквиваленты, или, вернее, моторные элементы, которые и предполагают, требуют, чтобы сами они были включены в подобную структуру, но составленную из движений. Таким образом, всякое восприятие имеет тенденцию реализоваться в моторном плане. Спонтанное подражание является совпадением между перцептивной структурой и моторной структурой, соответствующей ей, это — сенсорная модель, сама переходящая в состояние движения.

Единство, организация которого намного выше простой последовательности элементов, переводящей деятельность в эхо, структура, соответствующая спонтанному подражанию, еще не содержит в себе других связей, кроме внутренних связей, результатом которых является переход от восприятия к движению. Между восприятием и движением гораздо менее дуализма, чем взаимного и уравновешенного дополнения. Перцептивная модель не противопоставляется движению как внешняя цепь или норма, даже если соответствие с воспринимаемой структурой не устанавливается сразу и ее необходимо искать при помощи нескольких предварительных попыток. Этими колебаниями может уже начинаться разделение между тем, что должно, и тем, что может быть. Однако данное разделение еще только потребность, ищущая своего удовлетворения; результат, достигаемый через посредство сопротивляющейся материи; форма, приводящая в систему свои элементы. В отрыве от его теоретических постулатов это утверждение модели, составляющей целое с действием, которое выражает ее, находит свое естественное объяснение в перцептивно-постуральном соучастии живого существа с вещами тогда, когда его деятель-

ность не может немедленно проявиться в жестах, изменяющих среду.

В разумном подражании модель, вместо того чтобы привлекать к себе, выбирается. «Желание» или «необходимость подражать» наслаивается на «возможность подражать». Мотивы действия становятся посторонними самому действию. Они могут сравниваться с ним и, следовательно, вызывают тенденцию проводить различение между действием, выполнение которого можно разрешить или нет и модель которого обсуждается. Итак, имеется тенденция к разделению между тем, что воспринимается, воображается или желается, и тем, что совершается. В этом плане чистое действие может противопоставляться представлению. В то же время субъект больше воспринимает себя как нечто отличное от своих действий и своих представлений. С того момента, когда он противопоставляет модель как некую вещь, которой следует или не следует подражать, необходимо, чтобы ощущение его собственной личности в текущий момент преодолело намеченное действие. Это отчетливое отождествление своих действий, представлений и себя самого предполагает, что соотносительно отождествится и личность другого, с которой берутся модели и последователем которой он становится. Таким образом, подражание участвует в этапах психического развития, то подчиняясь его законам, то способствуя его прогрессу.

* * *

Основным переходом к интеллектуальному будущему ребенка, каким он был и для рода, является переход, который приводит его к слиянию с ситуацией или объектом посредством его перцептивно-моторных констелляций или его перцептивно-постуральной пластичности. Этот переход подводит ребенка к моменту, когда ситуациям и объектам можно дать эквивалент, составленный из образов, символов, предложений, то есть из частей, разделенных во времени и постепенно лучше поддающихся разложению на их индивидуальные элементы. Помещенное между своим соучастием с моделью и копией, которую оно в конце концов противопоставляет ей, подражание хорошо показывает формы и условия этого удвоения.

Сначала, несомненно, ребенок стремится подражать другим людям. Овладев своими первыми впечатлениями

при помощи связей с лицами, окружающими его, ребенок именно здесь осуществляет свой первый выбор. Пройдя через период автоматического или спонтанного подражания, ребенок не подражает безразлично всем, а лишь тем, кто благодаря какому-либо мотиву более всего импонирует ему. По своему происхождению это более или менее общее желание соединиться с ними благодаря своего рода аффективному соучастию. Фрейд указывает на амбивалентное чувство, которое может внушать это желание. Каннибализм служит примером: поглощение любимого или вызывающего восхищение предмета происходит аналогично тому, как мать покрывает своего грудного ребенка поцелуями, прикусывая его зубами: таким образом она «уничтожает» его, принося его в жертву себе. Также и обратно, происходит всякое погружение в ребенка для более глубокой ассимиляции, вплоть до отказа от себя и самоупразднения. Эти две тенденции могут противостоять друг другу, взаимно стимулироваться, исчезать, следовать друг за другом. То же происходит с ними и у ребенка.

Это действие представляет собой то действие, которое Фрейд назвал комплексом Эдипа. Повидимому, понимание его необходимо расширить, для того чтобы оно лучше отвечало действительности. Значение данного действия далеко не всегда или только сексуально, и объектом этого комплекса не обязательно должен быть отец. Не будучи любовным, соискание все же может объединять ассимилятивные и человекоубийственные тенденции, так же как это делает ревность, которая не возникает без смешения себя с другим в образе наслаждения, и вместе с тем кажется необходимым уничтожить соперника для того, чтобы присвоить наслаждение одному себе[1]. Согласно Фрейду, ребенок начинает с желания соперничать со своим отцом за свою мать, желая чтобы он исчез. Затем угрызения совести помогают ребенку принять отца как объект восхищения и модель для подражания.

В действительности же это происходит наоборот. Те, к кому обращается ребенок и кто может не быть его отцом, но по отношению к кому его привязанность к матери не способна внушить никакого чувства ревности, вызывают его интерес по следующим различным причи-

[1] V. H. W. Les Origines du caractère chez l'Enfant.

нам: величественная осанка, знаки заботы, авторитета, ухищрения, имеющие целью привлечь внимание ребенка; внимание или созерцание, объектом которого они являются. Их обаяние, которому поддается ребенок, приводит его к потребности в сближении и сходстве, что находит в подражании свое важнейшее средство. Но это желание ассимиляции с другим обычно не бывает без зависти; это или чувство поражения, или стремление стать предпочитаемым, или, наконец, подражание, стремящееся к замене «я» моделью, как к своему полному исполнению. Сначала воображаемое слияние стремится стать реальным. Но реальное слияние влечет за собой противоречие с реальным существом, каким является модель.

Это изменение характерно не только для ребенка. Мы видим субъектов, которые начинали с полной преданности другим, которые могут принести себя в жертву, вложить свою радость жизни в их тень или получая только отсветы их славы и которые однажды становятся его неукротимыми врагами. Все то, что они вобрали в себя от другого, внезапно соединяется с тем, чем они хотели бы стать сами. Медленно впитавшаяся личность другого и возникшее втихомолку желание преувеличить их собственное «я» приводят к тому, что одна мысль о другом становится им нестерпимой и делает невозможным всякое сосуществование. Это противоречие относится к тем противоречиям, которые не допускают компромисса. Ученик или правоверный не может больше выносить даже образа учителя или главы. Абсолютная преданность может превратиться в желание уничтожения. У ребенка эта эволюция не носит такого постоянного прямолинейного характера, потому что его впечатления изменчивы и разнообразны, но она заставляет его сочетать свой образ действий с образом действий окружающих его людей, для того чтобы затем противопоставить этому свое собственное «я», осознавая таким образом через других самое себя. Желая быть похожим на модель, ребенок противопоставляет себя личности другого и в конце концов так же должен отличать себя от модели.

* * *

Подобие — это понятие, при помощи которого удвоение «я» и другой личности присоединяется к удвоению

объектов, на которых основывается суждение о сходстве. Данное подобие также необходимо освободить от первоначального смешения. Клапаред кладет подобие в основу происхождения подражания, объясняя его *инстинктом соответствия*, побуждающего индивидуумы стремиться к подобию между собой. Эта потребность соответствия, весьма близкая, как кажется, к стадному инстинкту, тем не менее вносит уже больше различия между индивидуумами и их целым, которое служит примером каждому из них. В свою очередь, между соответствием и чувством подобия существует расстояние. Именно подражание преодолевает его.

Ссылаться на инстинкт — значит отказываться от объяснения. Соответствие — это некоторое взаимное приспособление, которое можно уже отметить у животных. Две собаки, живущие вместе, становятся как бы комплементарными. Они не только имеют общие привычки, но и могут разделять при этом роли, и это разделение является соучастием каждой в действии другой. Доказательством этого служит быстрая подмена повадок одной собаки повадками другой, если она случайно окажется без своей компаньонки. Одна маленькая собачка имела привычку оттенять резким отрывистым лаем вокализированный вой собаки, с которой она постоянно разделяла существование. При ее исчезновении маленькая собака в течение некоторого времени пыталась вокализировать, хотя она была мало одарена для крика подобного рода. В действии двух или нескольких партнеров интуиция совокупности реализует согласование между ними. Когда руководящая роль становится вакантной, то для того, чтобы занять ее, находится один из тех, кто играл простую роль аккомпанемента. Так, ассистент хирурга при случае, когда нужно, научается заменять его, выполняя только дополнительные жесты операции. Уподобление каких-то жестов в совместной работе делает соответствие не скрытым, а сразу же ярко выраженным.

В процессе этого необходимого приспособления деятельностей или поведений друг к другу понятие взаимного соответствия или сходства в конце концов раскрывается, но не вносится в процесс, который констатируется задолго до проявления такого понятия. Лишь в 3 года, в возрасте очень важного кризиса, когда утверждается чувство его личности, ребенок начинает делать

жесты, целью которых является указание на сходства. В 3; (15), говоря о большом апельсине, ребенок надул щеки, чтобы дать представление о нем. В 3; 2 он имитирует движением руки вертикальное движение деревянных лошадок. Немного позже его жест выражает вращение карусели. Здесь имеют место уже не простые движения сопровождения, а описательные жесты в отсутствии вещи. Указать на подобие и распознать его — это две разные вещи. Со 2 года ребенок распознает на картинке или на фотографии лица и предметы. Как ни трудно судить о интерпретации перспективы, нанесенной на плане, — это факт, что интерпретация весьма рано появляется у ребенка и наблюдается также у некоторых животных, как, например, у обезьяны. Действительно, речь идет о перспективной способности: узнавание — такое же прямое, какое оно было бы при наличии самой реальности. Совсем иной является такая операция, в которой дело идет об указании или воображении подобия. С возраста от 15 до 20 месяцев ребенок способен нацарапать карандашом на бумаге видимые черты. Но только начиная с 3 лет он выдает свою как, впрочем, и любую пачкотню за изображение животного или человека. Таким образом, осуществляется удвоение между вещью и тем, что представляет или заменяет ее.

Кажется, что это изображение предполагает предварительное существование представления. Тем не менее оно далеко не реализует все условия. Связи образа и объекта развиваются медленно. Ребенок довольствуется малым. Обстоятельства, из которых исходит совпадение или какие-либо аналогии, могут заменить ему подлинное сходство. Последовательность или одновременность конкретных впечатлений ребенка долго одерживает верх над его возможностью отбирать их для сведения их к перцептивному или идеальному типу. Эмблема, часто без ощутимой аналогии с объектом, предшествует потребности в верном изображении. Представление — результат работы, в которой подражание можно считать началом, а также и антагонистом.

Если подражание отличается от эхопраксии, то в своей перцептивной фазе оно является в то же время как бы пластическим приспособлением к объекту, временным сопротивлением движению. Это больше не простой последовательный вызов некоторых жестов соответствующими

впечатлениями, это — регистрация сцены во всей ее полноте таким образом, что ее представление является представлением всего действия, а не нескольких элементов, не имеющих другой взаимосвязи, кроме порядка, в котором они были восприняты. Когда инкубационный период предшествует воспроизведению, подражание приближается к представлению прежде всего в том, что, обнаруживаясь значительно позже, чем зрелище, послужившее оригиналом, оно требует внутренней модели, ставшей совершенно независимой от тех же самых влияний, из которых оно возникает; и затем подражание не может реализоваться иначе, как через перевод во внутреннюю и скрытую форму различных впечатлений, часто рассеянных во времени, через сведение этих впечатлений к своего рода единой производной. Так же всякий акт представления или воображаемого создания (conception) должен быть сам по себе простым и непосредственно уловимым. Всякий образ, всякая идея состоят из смешения в простоте единого момента сознания разнообразного содержания впечатлений. Всякая мысль — это система, в которой аморфное разнообразие опытов принимает форму и единство для сознания. Образ или идея, какой бы ни была сложность реальности и проявлений, соответствующих им, представляет собой не что иное, как упрощенную систему, в которой сознание постигает их как одно целое в мгновенности, в непосредственности текущего момента. В интеллектуальном плане Декарт также считал, что дискурсивные суждения, через которые нужно пройти нашему разуму в поисках истины, не могут дать прямого и необходимого понимания прежде, чем не пройдут через достаточное повторение для того, чтобы их последовательные элементы в конце концов растворились между собой и в итоге претворились в формулу, в которой разум может охватить их всех одновременно, в момент, когда он представляет себе его. Таким образом, умственная интуиция, из которой вытекает либо конкретное, либо абстрактное представление о вещах, собирает то, что было распылено, приводя его в состояние более или менее крупного, но единого и простого потенциального целого. Это именно то, что происходит с подражанием на фазе регистрации. Сцены, вызывающие интерес ребенка, растворяются в возможность или в потребность воспро-

извести их, что приводит множественность их деталей или их повторений к простоте.

Между подражанием и представлением существует, тем не менее, различие, заключающееся в том, что чистое представление интегрирует диффузный опыт в формуле, которая, кажется, вводится в сознание как окончательная и полная в тот же момент, когда она появилась в нем, между тем как подражание реализуется только во времени и через последовательность действий, в которых должна воспроизвестись воспринятая последовательность. Результат регистрации, приводящий к подражанию, является общей динамической формулой, потенциальным действием, не обладающим другим способом проявить себя, кроме развертывания во времени. Представление — это формула статическая, с вполне установленными границами ее применения и более или менее обходящаяся собственными средствами в момент, когда оно возникает в сознании. Между тем для подражания, повторение последовательности — не такое простое деление, как это могло бы показаться, и представление также не избегает, повидимому, необходимости возвращения к последовательности.

То, что более противопоставляет подражание представлению, является конкуренцией между ними, которая приводит к тому, что одно устраняет другое. Подражание гораздо непосредственнее у ребенка, чем у взрослого, и чаще встречается у взрослых с дебильным интеллектом, у которых средства представления, воображения, изобретательности, способности обнаруживать новые связи слабее, чем у человека, интеллектуальная жизнь которого предоставляет отмечаемым впечатлениям широкие возможности для развития и преобразования. Не имея возможности употребляться в чистых умственных операциях, раздражение, связанное с впечатлением, возвращается к жестам. Оно превращается или сейчас же, или со временем во внешнюю и подлежащую ликвидации реакцию. У ребенка, возможности торможения которого слабы, элементарные акты легко осуществляются в расходовании отсроченных и сложных операций. Так, например, само подражание имеет свои степени: или это подражание непосредственное и фрагментарное, или подобное и организующее элементы поведения со множеством перипетий в течение длительного инкубационного периода.

* * *

Интеграция, которая сводит впечатления или различные моменты к простоте динамического прототипа или образа, ставит последнюю проблему — проблему обратимого движения, возвращения к длительности, к последовательности. На первый взгляд кажется, что это не составляет трудности для подражания, где, повидимому, порядок жестов содержится в их зарегистрированной схеме, и даже не может существовать как представление, являющееся законченной формулой, в которой стороны объекта установлены и разграничены. В действительности в двух случаях необходимо, хотя и в разной степени, подняться до уровня деятельности, который выходит за пределы простой материальной видимости и осуществляемых жестов.

В той мере, в какой имеется модель, существует и целое, то есть нечто организованное и неделимое в себе. Взаимосвязь частей и их связь с целым затрудняют нахождение той части, которая намечает правильное развертывание других. Рефлекторные или автоматические акты развертываются в порядке либо экзогенных, либо эндогенных стимулов, управляющих ими. Акт подражания соответствует общему впечатлению, которое должно быть детализировано в своих последовательных элементах. Первые пробы, неуспех которых может продлить инкубационный период, обнаруживают взаимное противоречие между жестами, которые необходимо выполнить. Это противоречие затрудняет объективизацию жестов в пространстве и во времени. Они загромождают друг друга вместо того, чтобы идти вперед по этапам. Жесты могут взаимно затормаживаться, смешиваться или же намечать неправильную перестановку. Хороший успех какого-либо подражания достигается только в момент, когда действие становится способным разлагаться на составные предварительные части и сочленяться в жесты, каждый из которых имеет свою топографию и свой момент и не упускает в процессе осуществления ни его целостности, ни его становления. Иногда это пространственное и временное перераспределение, применительно к целому, оказывается невозможным. Это то, что наблюдается в апраксии. Ребенок начинает с того, что является апраксиком, как тогда, когда он подражает, так и в своих интенциональных актах, обусловленных интеллектуально.

Наиболее буквальное подражание — подражание модели, копируемой точь-в-точь, — не избавляется от этих затруднений. Задача ребенка может состоять в том, чтобы вместо действий, которые нужно воспроизвести своими собственными жестами, создать объект по другому объекту. В этом случае субъективные подражания превращаются в объективные. Может показаться, что соответствие модели осуществляется значительно проще, когда при сравнении она может быть сопоставлена с копией в том же сенсорном поле. В действительности все дело сравнения требует удвоения, что уже превращает ее в сложную операцию. Усилие должно разделяться между выполнением и контролем. Чем более модель является внешней субъекту, тем более необходимо для того, чтобы утвердить согласование, воображение, способное к длительности, устойчивости, самостоятельности. Не существует такой транскрипции, которая — как бы она ни казалась нам механической — не требовала бы умственной перестановки, непрерывного перехода от примера к образцу с помощью схем, в которых наличные детали непрестанно сличались бы с целым. Передача основной черты за чертой привела бы только к бесформенности и бессвязности. Тот, кто воспроизводил бы чертеж от одного его края к другому, должен был бы разграничивать каждый отрезок и каждый элемент отрезка по отношению к смежным частям и выбирать между деталями, загромождающими друг друга. Он должен был бы непрестанно мешать себе нарушать свое систематическое продвижение, к чему могли бы побудить его жест или деталь в процессе окончания. Постепенно именно совокупность целиком и полностью контролирует и регулирует исполнение частей.

Таким же образом видимое действие руководствуется возможностью интуиции, предвидения и распределения, которая противопоставляет эмпирическому пространству жеста идеальную среду, на фоне которой выступают связи, подлежащие реализации. Несомненно, здесь идет речь не о дроблении совершающейся деятельности на серию последовательных образов. Эта деятельность представляет собой непрерывную трансформацию структур, имеющих тенденцию соединить и унифицировать впечатление от модели и впечатление от копии. Данная операция сложна и как бы биполярна. Она требует, чтобы

субъект умел подчинять свою сенсомоторную деятельность формам, лишенным чувственной реальности. Здесь представление существует в потенции.

Более или менее длительный и ощущаемый разлад между намерением и его результатами может помочь представлению вычлениться. Сначала это простое несоответствие между пробами и неудачами, неформулируемое, внутреннее, но имеющее тенденцию постепенно диссоциировать два элемента: сопротивляющуюся материю объекта или созданных жестов и предел, к которому они стремятся, который заставляет трансформировать их в интересах модели, подлежащей реализации. Этот предел, зародыш представления, противопоставляется различным пробам, как то, что совершенно, постоянно, определенно — неопределенному, неуловимому, бесформенному. В нем начинает едва проявляться объективность. Действительно, если мысль ребенка остается так долго под властью его последовательных впечатлений, если она является чисто конкретной и синкретической, то есть неспособной к самоанализу, к дифференцировке связей, существующих между вещами, то это происходит потому, что у него нет возможности распределять предметы между собой иначе, чем они даны в каждом частном опыте, нет умения образовывать из них разные и различно комбинируемые образы, нет поля представлений, где они развивались бы.

Таким образом, каждое представление, элемент, в котором распределяются и интегрируются соответствующие впечатления, не является ни изолируемым, ни последним элементом. Представление ограничено только связями с совокупностью представлений, оно раскрывается только через сравнение и противопоставление. Устоявшееся и инертное представление становится неясным, несоответствующим требованиям действия или мысли, бесплодным, бесполезным. В Патологии рассматриваются состояния нарушения мышления без интеллектуальной недостаточности, когда мысль не может ни развертываться, ни возобновляться. Беспомощность, порождаемая данным состоянием, показывает, как нормальная мысль должна иметь возможность детализироваться, анализироваться, становиться дискурсивной для того, чтобы существовать и использоваться. Порядок мысли не предписывается событиями. Он должен реализоваться мыс-

ленно. Речь идет не о состояниях, развертывающихся в сознании, подобно фильму, а об абстрактном порядке, наслаивающемся на эмпирическую последовательность, которую разум должен расположить параллельно обстоятельствам.

Но эти связи представлений между собой могут существовать только благодаря их возвращению к протяженности во времени. И тогда возникают затруднения, подобные затруднениям, с которыми сталкивается подражание, следует то же взаимное соприкосновение элементов, та же неспособность не только найти порядок или разместить их, но и отделить одни от других, разделить их между собой. Чувственный образ не является единственным составным элементом представления. В представлении он получает название, которое классифицирует его среди других образов и определяет его объективное значение. Говорят, что представление является первой ступенью символа, но это потому, что оно стремится уже к языку, лучше всего систематизированному и наиболее приспособленному орудию мысли, который манипулирует не предметами, а символами или который манипулирует предметами посредством символов.

Именно благодаря языку представления могут развертывать свои связи и возвращаться к протяженности во времени. Таким образом, язык у ребенка и у афатика, который теряет соответствующий навык, затруднен тем, что он распадается на детали во времени. Лингвистическая реальность — это фраза, а не слово, существующее только благодаря расчленению фразы. Полуграмотный очень плохо умеет разделять на слова фразу, которую он пишет. Он соединяет несколько слов в одно и, наоборот, разделяет одно и то же слово на два. По наблюдению д'О. Ф. Кука (d'O. F. Cook), голахи (les golahs) из Либерии не знают, что они говорят словами (в каждое из которых вложен постоянный смысл) в их различных сочетаниях [1]. Для их сознания фраза представляет собой единое целое, причем, каждый раз каждая из фраз кажется им точно приспособленной к оригиналу. Между тем ребенок сначала говорит только словами, которые являются, правда, словами-фразами. Структура его первых слов наиболее элементарна; это обычно один и тот же

[1] Приведено Леви-Брюлем.

удвоенный слог. Намерение, которое хотел бы выразить ребенок, не может развертываться в последовательных элементах. Момент, когда ребенок приходит к соединению двух слов, рассматривается Оскаром Блохом (Oscar Bloch) как главный этап. Начиная с этого момента, ребенок очень быстро научается составлять предложения из многих членов. В это же время он становится способным уловить связи между многими представлениями и, через их посредство, между вещами.

Хотя подражание и представление развертываются в двух различных планах (одно — в плане двигательном, другое — в плане образов и символов) и хотя они, таким образом, могут вступать в конфликт, они имеют, тем не менее, общие условия, зависящие от общности их происхождения и сходства их ролей. В противоположность реакциям, изменяющим среду и являющимся прямым следствием внешних возбуждений и желаний, подражание и представление развертываются как пластическая способность образовываться самой по себе согласно модели вещей. Это их важнейшая стадия. Последующие жесты или символы представляют собой уже возвращение к внешнему миру и к движению, но на этой стадии они приобретают свое значение. И подражание, и представление — это сведение более или менее рассеянных впечатлений к своего рода единую и как бы вневременную формулу. Затем им приходится расчленить эту общую интуицию на последовательные элементы. Эти аналогии только формальны; они предполагают некоторые связи обоюдных действий.

Глава III

РИТУАЛЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Функциональному анализу связей между подражанием и представлением могут служить религиозные ритуалы, применявшиеся в эпохи наиболее отдаленных типов цивилизаций, обнаруженных нашим знанием. Уже тогда представление стремилось к изменению или к направлению хода вещей. Но его область была еще слишком ограничена для того, чтобы оно могло бы почерпнуть отсюда соответствующие навыки. Следовательно, представление также вынуждено было вернуться к подража-

тельному жесту с целью найти в нем одновременно средства действия и конкретное сопровождение, которое необходимо, чтобы оно окончательно утвердилось в поведении индивидуумов.

Мифы, которыми проникнута жизнь и деятельность первобытных людей, соответствуют практике, являющейся смелой попыткой человека сдержать силы природы. Их навыки — это ритуал, передававшийся стариками из поколения в поколение. Данный ритуал представляет собой не что иное, как совокупность подражаний и вымыслов, освященных традицией и стилизованных религией.

Вот, например, тотемический предок, — чаще всего животное, — который, как считают, оказывает постоянное воздействие на жизнь клана и индивидуумов, составляющих его потомство. Для того чтобы представить себе его присутствие и его влияние, они используют точно такой же прием, каким пользуется ребенок по отношению к лицам, в которых он пытается претвориться с помощью подражания. «Мы видим здесь предка, — говорит Леви-Брюль, — представленного актерами в его двоякой форме животного и человека. Их костюм (когда они его имеют), украшения, танцы и особенно игра напоминают о поведении животного. Они имитируют свойственные животному движения, тогда как хор рассказывает и поет основные мелодии мифа. Движения животного воспроизводятся с той верностью, с какою может достичь только негр». Часто шкуры животного и маска дополняют сходство и, следовательно, соучастие. Иногда маска приподнимается так, чтобы показать по временам человека в животном, то есть единство их жизни в двух различных аспектах, или, вернее, воссоединение того, что было уже раздвоено: существа в его чувственной реальности и образа силы, поддерживающей его существование.

Ничто не может лучше, чем это устройство маски, служить символом в роли посредника, которую играет подражание для того, чтобы дать объекту копию, тождественную ему, но отличающуюся от него. Это парадокс, противоречие между вещью и представлением о ней, еще сознаваемое и становящееся очевидным. Твердо считая, что вещь и представление о ней едины, следует избегать их смешения под страхом снова впасть в эмпирическую область чистых результатов без причин, безымянных существ без прототипа, переживаемого без классифици-

рующего принципа. Самый строгий, самый элементарный ритуальный реализм должен уведомлять о фикции, если он хочет сохранить то, что является постулатом ритуала: различие между тем, что существует, и тем, что сделало его существующим, тем, что нужно призвать для того, чтобы поддержать или развернуть его существование. Вымысел — это необходимый шаг мысли как только она начинает стремиться к очищению от необработанного восприятия. Обратной стороной иллюзий игры у ребенка является чувство и постоянное желание вымысла, как это справедливо отметил Жане. Если ребенок изображает кусок бумаги как вкусное блюдо, расстояние между двумя объектами представляет собой стимул его удовольствия. Игрушки, которым он оказывает предпочтение, часто наиболее бесформенны — те, в которых условия реальности перестают преобладать и не мешают воображаемым желаниям ребенка. Внутренняя модель одерживает верх над данными органов чувств, представление выступает с выгодной стороны и требует в своем начале резко ограниченных ситуаций для того, чтобы лучше знать объем своего влияния.

Ритуальное подражание не всегда является подражанием живому существу, животному или сценам, относящимся к его поведению, оно представляет собой также подражание желаемым ситуациям и обстоятельствам, связанным с ним. «Дело было в том, чтобы заставить засуху прекратиться... действие состояло в основном в подражании тому, что происходит, когда идет дождь. Яма наполнялась водой, лягушки квакали, утки и другие птицы махали крыльями и кричали; женщины защищались как можно лучше от ливня, который мочил их (кристаллическая пудра, которою мужчины посыпали на них)... Точно так же, в некоторые дни нага, живущие на северо-восточной границе Индии, спускаются по тропинке, идущей с их рисовых плантаций, медленными шагами и согнув спины, как бы сгибаясь под тяжестью урожая... Подражая походке, которую имеют если она хороша, они убеждаются, что она такова, и добиваются того, что походка становится красивой». Имитирующее наглядное изображение стремится здесь заставить осуществиться в результате этого изображения предвидение, желание. Представление, выражающее данное изображение, смешивается еще с желанием или с волей и не выявляет свою

магическую силу только в тот момент, когда оно само развертывается в положительных основах действия.

Подражание может быть произведено также в обратном направлении, то есть реальное действие получает видимость подражания, для того чтобы персонаж, которому подражают, оказал на это действие благоприятное влияние. Например, счастливый исход плавания кажется связанным с легендарным плаванием, которое якобы повторяет данное. Легендарное плавание является охраняющей моделью настоящих плаваний. Кормчий одевает костюм героя, ставит себя в его положение, воспроизводит его поведение. «Таким образом, подражая ему, он становится настолько похожим на него, что больше не отличает себя от него». Такое освящение своего поведения героическим или божественным примером в настоящее время происходит только в моральных намерениях, и подражающий хорошо знает, что он может быть в единении со своей моделью только на очень большом расстоянии. Итак, происходит новое отделение представления как такового от сил, которые приписывались ему вначале. Между тем представление впоследствии только дает силы их собственному продолжению, то есть оперативным приемам, в которых оно делает возможным формулировать прошлый опыт.

Будучи введением к представлению, подражание может быть также и противоположностью ему[1]. Прекрасной иллюстрацией этому служит пример первобытных людей. «Основным мотивом обряда и танца, — говорит Леви-Брюль, — для тех, кто совершает их, как и для тех, кто присутствует при них, является причастие, мистическое слияние, отождествляющее их тогда в зависимости от случая с мифическим или тотемическим предком, человеком-животным или человеком-растением, или «гениями» растительных и животных видов... Действительно, танцор в своих движениях и жестах подражает с наиболее возможной верностью существу, которое он пытается представить; он отождествляет себя с ним. Под влиянием музыки и танца, который сопровождает ее, случалось, что мужчины и женщины впадали в состояние полного отсутствия, забвения окружающего мира и,

---

[1] V. H. W. De l'expérience concrète à la causalité, Journal de Ps., N. et P., 1932, XXIX, 1—2, p. 134.

повидимому, теряли возможность осознавать его. Можно находиться перед ними, и они, кажется, не узнают вас. Если что-либо говорят им, то в ответ получают только неподвижный взгляд... Именно в такие моменты осуществляется причастие между исполнителями обряда и сверхъестественными силами или существами... для которых совершается обряд, которые присутствуют при нем и принимают участие в нем».

Конечно, эти действия имеют нечто общее с пароксизмом. Жест, ритмы данных действий, монотонное произнесение, песни, музыка, которая сопровождает все это, в конце концов сводит в большей или меньшей степени психическую деятельность к одним кинестезическим впечатлениям, к одному исступлению жестикуляции и поз. Их чисто субъективные влияния поглощают все, вплоть до осознания способа изображения, которое служит им основой. Проприоцептивный элемент сам по себе движения устраняет рождающийся образ, связанный с действием мима. Но именно различная дозировка данного элемента непрестанно удерживает подражание между двигательным эффектом и представлением. Они находятся здесь в постоянном конфликте. Так же у ребенка не бывает в виде исключения то, что возбуждение игрой уничтожает ощущение окружающего и его личности. Так подражание, стремящееся через посредство жеста к отождествлению, к замене, разрушает (после того, как оно подготовило его) представление, из которого движение должно исчезнуть.

* * *

Между подражанием и представлением может включаться вымысел: «Средство освободиться от дурного влияния, отстраняя его... состоит в том, чтобы самому себе причинить более или менее полно зло, которое считают неминуемым... Одному пригрезилось, что он был взят врагами и подвергнут пытке согласно обычаю. На следующий день он заставил своих друзей привязать его к столбу и просил нанести ему жестокие раны. Другой, который во сне видел свой дом в огне, сам поджег его на следующий день, но не допустил, чтобы он сгорел до конца, и т. д. Одному баттаку приснилось, что его избили. На следующий день он заставил друга нанести ему несколько ударов, для того чтобы избежать действительного избиения». Здесь между вымыслом и реальностью есть разница

еще только в ограничении последствий по собственному желанию. Но вымысел, полностью связанный с материальным объектом, может переходить в план символов. «В Новой Померании, когда идет слишком сильный дождь, сулка, чтобы заставить дождь прекратиться, кладут камни в огонь, всегда произнося какие-то слова; когда камни становятся горячими, их выносят наружу, все время произнося формулы. Капли дождя, падая на эти камни, испаряются, и тогда дождь перестает».

Поступательное движение к представлению очевидно. Вымысел больше, чем мимическая сцена, имеет тенденцию отделиться от личной деятельности. Оставляя в стороне колдовство, действие человека вмешивается только для того, чтобы вызвать естественный эффект. Еще один шаг, и начинает действовать простое сходство между объектами, то есть качества, которые, будучи отделенными от них, дают возможность объединять их, хотя эти объекты различны в других отношениях. Очевидно, для первобытного человека сходство содержит в себе некоторую общность существования и субстанции, своего рода соучастие. Это может быть даже стимулом к обнаружению сходства. Но в той мере, в какой сходство относится ко многим объектам, оно имеет тенденцию стать представлением, отделяющимся от каждого объекта в частности. В той мере, в какой сходство дает возможность объединять объекты, оно является категорией в потенции.

«Во время посева, — рассказывает Леви-Брюль, — в почву засаженного места зарывают какие-либо камни, форма которых похожа на форму клубней, которые надеются получить. Эти камни, которые заботливо кладут рядом после каждого сбора урожая, должны влиять на клубни подобно модели... Все происходит так, как если бы клубни одновременно были побуждаемы и вынуждены брать пример с камней и достичь той же величины, что и они, как если бы величина их магических моделей передавалась им» [1]. Здесь действенность еще остается включенной в образ; действительно, она является необходимым стимулом, для того чтобы определить на этой давно минувшей стадии мысли процесс сравнения, которое требует обнаружения сходства. Нужно, чтобы сходство было

---

[1] V. H. W. Le réel et le mental, Journal de Ps. N. et P., XXXII, 1935, Mai-Juin, p. 464.

своего рода силой, действующей в вещах для того, чтобы это сходство было различено и изолировано. Перенос сходства с одного предмета на другой является сначала не категориальным, а реальным; он осуществляется благодаря своего рода материальной партиципации. Тем не менее это уже форма или размер, передающийся друг другу. Став силой, принуждавшей вещи, сходство превращается в качество и классифицирует их.

«У папуасов Новой Гвинеи перед охотой изображают крабов. Подобно тому, как это делают крабы своими лапами, папуасы извлекают рыб и других животных из отверстий в кораллах, считая, что та сила, которую имеют крабы, должна воздействовать на дичь в лесу и «духовно извлекать» вепрей из их логовища, таким образом, чтобы можно было увидеть и застрелить их». Здесь процесс дематериализации представления продвинулся немного далее. Сходство между объектами уступает место простой аналогии между действиями с похожими результатами. Материальное соучастие превращается в силу, действующую как бы символически. Эти различия предшествуют, очевидно, различию, которое сам первобытный человек мог бы постичь между материальным или магическим действием, между реальностью и символом. Они не указывают на меньшую степень его возможности воображать существа и их свойства.

Впрочем, сходство, аналогия, рассматриваемые как действительные, могут быть вызываемыми и искусственными. В этом состоит причина существования украшений на орудиях первобытных людей. «Мариуд-аним, как и другие, всегда украшают вещи, которые они производят, чертами, подобными чертам тела или лица человека... Несомненно, они здесь подчиняются еще чему-то другому, кроме потребности удовлетворить свой художественный вкус. В большинстве случаев они хотят таким образом приблизить объект к его мифическому прототипу... который также имел человеческие формы... Почти всегда весла украшают некоторыми орнаментами — спиральными линиями, представляющими собой глаза. Точно так же украшают некоторые стрелы, дубины, корзины и другие плетеные предметы; лопаточки для бетеля, барабаны» [1]. Отверстие барабана — это рот; капли древесной

[1] V. H. W. Le réel et le mental, p. 464.

смолы распределены на его коже, чтобы изобразить зубы; без них он не сможет хорошо звучать. Индивидуализация образа в этом последнем случае сделала новый прогресс. Перемещаясь с человеческих жестов на свойства объектов, сходство переходит в фигуру, которая уже является буквально символом.

* * *

Наконец, в мифах, в ритуальных церемониях язык играет также большую роль. В то время действующее лицо подражает предку, посвященные рассказывают о его подвигах. Они не только объясняют жесты мима, но и применительно к специфической функции языка излагают то, что не может быть выражено мимически, то, что в данное время не осуществлено или неосуществимо, то, что относится к иному месту или времени.

Повидимому, действительно между языком и представлением существует необходимая связь. Представление, которое не было бы обозначено словом, будь то произнесенный простой приказ, словесное выражение, намерения, не могло бы быть зафиксировано сознанием. Оно не могло бы, во всяком случае, ни продолжить, ни найти необходимые ассоциации в их развитии. Но, будучи по своему происхождению социальным, язык вводит в сознание, диктует данным сознания рамки условности или традиционного опыта, который принадлежит группе и ее коллективной жизни.

Слова здесь так необходимы, так тесно соединены, что не существует состояний сознания, которые спонтанно бы не выражались ими. Когда они остаются непроизнесенными, это значит, что их устное проявление ограниченно. Но как только ослабляется контроль, слова проявляются. Так губы начинают шептать в моменты рассеянности, и помрачение сознания сопровождается тем, что Пик называет «словесной формулировкой», возвращением внутренней речи к внешней. Тогда незначительная деятельность, на которую субъект остается способным, формулируется в простых приказах, одновременно выполняемых. Если действие повторяется автоматически, его формулировка тоже выступает в виде литании. И совокупность действий может напомнить определенную сторону ритуальных религиозных обрядов.

На этом уровне простого устного произнесения ассоциации остаются в зависимости от одновременно выполняемого жеста и самой речи. Они имеют нечто от вымысла. Простые вербальные аналогии заменяют реальные. Ассонансы, рифмы, морфология слов обгоняют смысл и управляют им. Чем беднее выражение идей, тем ограниченнее связи, свойственные им, и тем более речь кажется обладающей внутренней властью, пророческой или магической силой.

В некоторых случаях речь может на основании легенды изменить веру, даже фундаментальную, как бы скрупулезно первобытные люди ни сохраняли свои традиции: «Один клан, *Сапи-зе*, названный так по своему мифическому предку *Сапи*, недавно получил нового тотемического предка: рогатое животное, только потому, что это животное называется по-малайски *сепи* и было известно под этим именем мариуд, живущих в окрестностях Мерок (Merauke).

Таким образом, даже в слове, жест и содержание представления находятся в наличии, ища равновесия в своего рода скрытой пробе. Это показывает затруднения в эволюции, которая смогла привести человека к установлению независимости своих представлений и мысли, обеспечивая их полное господство над жестами, которые, предшествовав им и подготовив их, попрежнему необходимы для их выражения.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЫСЛИ

Глава I

ОТНОШЕНИЯ ОБОЗНАЧАЮЩЕГО К ОБОЗНАЧАЕМОМУ

Представление, необходимое для того, чтобы мыслить о предметах, устанавливает между ними и человеком новые отношения. Оно превращает отсутствующие предметы в присутствующие в уме. Но присутствуют они или отсутствуют, представление дает им возможность вступать в иные отношения, чем отношения непосредственного индивидуального опыта. Это происходит ценою подстановки, которая замещает их другим чувственным эффектом, способным обозначить эти предметы. Теоретически не имеет значения природа этого эффекта, лишь бы только его можно было считать таковым среди отношений или их аспектов, свойств, следствий, во всех обстоятельствах, когда дело касается либо предвидения за пределами непосредственной действительности, либо воспоминания о чем-то прошедшем, либо воображения предполагаемых сочетаний.

Отношение обозначающего к обозначаемому не может быть простой автоматической производной от практической деятельности. Она не может сформироваться посредством усложнения и прогрессирующего объединения простых сочетаний сенсомоторных схем [1]. Данная деятельность тем более не может следовать в силу прямой преемственности за непосредственными реакциями, вызываемыми средой. Как бы изобретательны или сложны ни были эти реакции, они отделяются от мысли порогом, устанавливаемым представлениями или символами. Высшая обезьяна прекрасно может связать орудие со своими движениями и свои движения с орудием, никогда не показывая, что она использует представление. Несомненно,

[1] См. часть первую данной работы, глава I

палкой, которая сначала вошла в поле действий обезьяны благодаря связям, воспринятым в данный момент с целью, животное вскоре манипулирует ради нее самой. Животное с радостью открывало различные способы употребления палки: через ее посредство трогать объекты, находящиеся вне досягаемости, бить по воде в лохани для того, чтобы забрызгать своих соседей, ткнуть идущую мимо курицу и т. д. Но здесь еще имеет место только связь автоматизмов и случаев с палкой, не существующей самой по себе. Разнообразие чудесных эффектов палки может заставить сравнить ее с магической палкой. Между тем разница здесь велика. В свою магическую палку первобытный человек вложил свое мастерство, иногда весьма тонкое, для того чтобы наделить ее удивительными свойствами, и, во всяком случае, он действительно превращает эту палку в опору силам, основанным на определенных системах представлений и верований. Отождествление палки — это нечто единственное в своем роде. Ее силы не являются результатом обстоятельств, она содержит их в самой себе. Палка занимает свое особое место в ритуальных атрибутах, которые все проникнуты символическими значениями.

Доказательством того, что шимпанзе еще не действует сообразно представлению объектов, является его обращение с ящиками, которые он не может поместить вертикально под высоко подвешенным объектом. Шимпанзе не только ясно не схватывает форму и равновесие, но и приближает ящики только на расстояние, как раз необходимое для того, чтобы дополнить досягаемость прыжка, который он способен совершить. Для него ящики не представляют собой ничего другого, кроме позиции и точки опоры в соответствии с интуицией или опытом, которыми он обладает в своих двигательных способностях. Как могла бы дать отчет о представлении эта практическая деятельность, которая знает среду только как то, что дает ей стимулы и немедленно используемые средства.

Противоположная иллюзия — это иллюзия традиционной психологии. Порог, отделяющий представление от конкретной реальности, все еще замаскирован, но в обратном смысле, потому что представление рассматривается как предшествующее самому объекту. Именно это прекрасно показано в известной формуле Тэна о восприятии, определяемом как подлинная галлюцинация. В психоло-

гии, которая исходит из состояний сознания, то есть из анализа сознания через самое себя, то, что кажется первичным, существенным данным, является образом. Служа простым внешним поводом к образу, дополнением, реальность оказывается в конечном счете принесенной в жертву образу, отождествленной с ним. Здесь также еще не отдается отчета в переходе от конкретной деятельности к представлению. Взятое в качестве исходной точки, представление не может рассматриваться как результат удвоения между объектом и тем, что может стать его знаком.

Но, напротив, можно найти, как и в какой момент происходит это удвоение. В данном случае основным и весьма важным фактом, который мог бы рассматриваться как начало, оказывается антиципация. С этого первичного образа вещей, каким является восприятие, роль антиципации становится важнейшей. Часто еще определяют восприятие через точное соответствие с действительностью, как если бы оно было ее калькой в момент его осуществления. Но анализ восприятия показал, до какой степени раздражитель, вызывающий его, часто не отвечает его содержанию. Раздражитель — это случай, который влечет за собой сложную реакцию. По существу этой реакцией является поза, приготовление к действию со всей совокупностью образов, которые может включать соответствующая ситуация. Если эта ситуация имеет нечто необычное, двойственное, то вызванные ею поза и вереница образов могут не согласовываться с ней. Результат обманывает тогда ожидание субъекта. Необходимо, чтобы восприятие модифицировалось. Таким образом, возникают альтернативы, показывающие начальную нетождественность действительности и восприятия. Субъект, оказывается, реагирует на какое-либо внешнее обстоятельство перцептивной системой, хотя и не приводит существенного довода в пользу точного сходства между ними двумя. Перцептивная реакция предшествует ситуации или вернее ее осознанию, что является только вторично отмечаемым соответствием между перцептивной реакцией и ситуацией. В привычных условиях эмпирическая, но неизменная связь между определенным стимулом и подобной перцептивной системой реализует одновременность, которая, совершенно естественно, оценивается как необходимое тождество. Каждый раз оказываются неизбежными

еще незначительные поправки. Но чаще всего они вносятся настолько безотчетно, насколько беглым, практически мгновенным должно стать приспособление наших перцептивных систем к разнообразию действительности.

Несмотря на потенциальную диссоциацию между действительностью и ее образом, наблюдаемой в восприятии, простому механизму антиципации, являющему причиной этого, нельзя также приписать ту диссоциацию, которая влечет за собой противопоставление представления своему объекту. Механизм антиципации имеет слишком отдаленный источник в истории живых существ, чтобы дать объяснение тем факторам, которые появляются только с возникновением человеческого рода. Механизм антиципации начинается с простых энграмм или регистрации живой материей реакций, цикл которых, сначала связанный с внешними обстоятельствами, в конце концов самовоспроизводится: таков пример «морского блюдца», которое в аквариуме продолжает открываться и закрываться в соответствии с ритмом прилива и отлива. На более высоком уровне антиципация становится более избирательной. Она более не является простым автоматическим следствием влияний, которые испытывает субъект. Она сохраняет контакт с изменяющимися или случайными ситуациями. Антиципация связана с обстоятельством, от которого зависит приведение ее в действие прежде, чем может реализоваться или объективно, или субъективно ситуация в целом. Таким образом, часть стремится вызвать тот же эффект, что и целое. Поскольку предварительное существование восприятия невозможно, следует предположить в организмах способность полностью повторять внутренние реакции тогда, когда действующий в настоящее время стимул не воспроизводит целиком первоначальный стимул.

Пример подобного случая экспериментально изучен Павловым и его школой под названием условных рефлексов. Благодаря им обстоятельство, само по себе индифферентное, становится действенным после достаточного количества раз повторенных сочетаний со специфическим для получаемого результата раздражителем. Целое из двух раздражителей можно сравнить с общей ситуацией, в которой случайное было бы смешано с основным. Но тогда действует дифференцировочная способность коры, которую Павлов считал важнейшей в аналитическом

аппарате. Имеется не только перенос влияния с целого на часть, со специфического на случайное, но само случайное может быть отобрано, разграничено благодаря активному механизму торможения, которое постепенно лишает действенности те из нюансов или обстоятельств, повторение которых никогда не связывается со специфическим раздражителем. Таким образом, условный раздражитель может достичь возрастающей точности и свестись только к одной черте, действие которой становится таким же, как и действие общей ситуации. Следовательно, условный раздражитель вызывает ответ на эту ситуацию при ее отсутствии, т. е. также через антиципацию или прежде, чем она могла бы полностью быть осуществлена субъектом. Тогда условный раздражитель, повидимому, принимает значение сигнала.

* * *

В понятие сигнал, вероятно, входило понятие значения. По этой причине данный термин служил соединительным звеном между случаями, весьма несоответствующими друг другу, и замаскировал порог, разделявший их. Этикетка из белой бумаги, приклеенная на коробку, может изменить ее вид достаточно для того, чтобы соответствующая дрессировка побудила обезьяну или даже других, менее развитых животных, «узнать» ее между многими другими коробками в остальном подобными, то есть связать исключительно с ней реакцию, использованную дрессировкой. Та же самая этикетка может быть для человека знаком, соответствующим инструкции или средству классификации. Может оказаться, что внешне жесты человека и животного имеют некоторое подобие. И тем не менее психические операции, результатом которых являются жесты, очевидно, не одни и те же самые. Но термин «сигнал» обычно употребляется в опытах дрессировки для того, чтобы обозначить всякое обстоятельство, предназначенное для дифференцировки между собой двух объектов или двух ситуаций, как это употребляется для кодифицированных сигналов, которые машинист должен учитывать.

Если сигнал принят для случаев, подобных случаю условного раздражителя, нужно, по крайней мере, тщательно установить пределы психического акта, соответствующего ему. Часто точки зрения того, кто устанавли-

вает сигнал, кто выбирает его между другими наглядными эффектами, с тем чтобы связать его с ситуацией, требующей некоторого ответа, и того, кто должен с этим сообразовываться, — спутываются. Действие первого сочетает, смешивает первоначально различные термины. Оно по природе дискурсивно. Часто допускается подобный начальный дуализм и для действий второго. Но в этом случае возможны две противоположные гипотезы. Или же это условие, которое принято так, как оно было задумано, и действие испытуемого воспроизводит действие экспериментатора; но не таким является результат дрессировки, как это показывают в достаточной степени совершаемые поступки. Или же опыт в результате соединяет, как два звена одной цепи, две психические реакции, первоначально посторонние друг другу. Именно таким путем образование условных рефлексов часто сводится к ассоциации, произведенной извне между элементами, которые имели бы своего рода предварительную индивидуальность. В равной степени именно таким образом некоторые авторы представляют себе возрастающий масштаб психомоторного акта: как соединение или взаимную ассимиляцию какой-либо моторной схемы и какого-либо сенсорного впечатления, которые вначале существовали раздельно. Что эволюции и созреванию нервной системы свойственно вызывать их слияние и все более экстенсивные функциональные интеграции — это, несомненно, доказанный факт; но что психомоторная система или нервная субстанция могут получать благодаря дрессировке или внешнему воздействию следы, которые соединяли бы то, что было различно и прервано, — это атомистическое и механистическое представление о психической жизни, несоответствие которого с реальностью стало очевидным.

Не будучи ни актом дискурсивного понимания, ни простым присоединением раздражителя к реакции, «сигнал» черпает свою силу, наоборот, из начального слияния с ситуацией, часть которой он составляет. Даже в искусственных условиях, в которых образовывались условные рефлексы и производились некоторые дрессировки, легко обнаружить тесную связь выбранного раздражителя с общим поведением субъекта. Раздражитель остается без результата, и реакция не происходит, если основное в ситуации изменяется. У накормленного грудного младенца или находящегося в состоянии отвращения к пище дви-

жение сосания не происходит, даже если ребенок помещен в положение кормления; и известно, какая совокупность отрицательных условий была тщательно реализована в опытах Павлова для того, чтобы избежать малейшего изменения в ситуации. Все обстоятельства действуют заодно и одновременно находятся в центре желания, потребности, действующей функции. То из обстоятельств, которое послужит сигналом, агглютинирует с другими благодаря действующим в данном случае тенденциям, на основе которых все они получают возможность быть вызванными позже. Из этого следует совокупность, которая напоминает гораздо более индифферентное целое, чем механическую ассоциацию.

Сигнал имеет в этом случае нечто конкретное, переживаемое. Он не произволен в себе самом. Он является частью, вводящей целое, от которого он еще не отличается и не может быть отличен. Следовательно, нужно остерегаться придавать сигналу на этой стадии смысл обозначения. Он устанавливается благодаря простому повторению совпадений и устраняется посредством повторения несовпадений. Он не присоединяется к тому или не противопоставляется тому, что он вызывает или чему препятствует самостоятельной операцией различения. Реакция грудного младенца на обстоятельства, которые мы различаем и отождествляем как сигнал, с его стороны не включает ни понимания, ни истолкования. Совокупность его первоначальных привычек, играющих такую большую роль в его психогенезе, предшествует всякому пониманию и отношениям обозначающего к обозначаемому. Еще у взрослого в его поведении могут наблюдаться связи, которые возникли, хотя он не понял ни смысла, ни причины их, исключая те поступки, когда случается, что он думает после об этом.

В подобном же случае сигнал является знаком. Но вместо того, чтобы связываться с деятельностью субъекта, он связывается с ситуацией. Сигнал предполагает с необходимостью не представление, а только воспринимаемую действительность. Это ощущаемые данные, представляющие собой не начало реакции, а скорее предостережение в отношении событий или присутствий более или менее близких, но пока бездеятельных. Это не только деталь, по которой предугадывается целое; это признак, отличный от целого, хотя и имеющий некоторую естественную

связь с ним. Следовательно, нет столь тесно связанной с действием, с общей ситуацией детали, чем сигнал. Антиципация здесь имеет больший радиус действия. Индукция, рассуждение могут быть необходимы для того, чтобы заполнить промежуток между признаком и соответствующим фактом. Литература овладела этим для создания полицейского романа, в котором непрестанно ставятся задачи, требующие находчивости читателя в догадках. Между тем в этих воображаемых сочетаниях обстоятельства играют значительно более важную роль, чем сама природа знака; вывод, который мы получим, является весьма частным, а знак, по крайней мере внешне, общим; следы спутаны. Наконец, и что особенно важно, искомый результат не относится больше к области действительности, имеющей место в настоящее время. Это конструкция, предназначенная для воспроизведения прошлого, то есть того, что уже относится к плану представления.

Знак не сам по себе перемещает это. Он менее всего допускает удвоение между вещью и образом. Как бы ни был знак отделен во времени или в пространстве от своего объекта, он присущ именно этому объекту. Животное, воспринявшее свою добычу, может в течение ее преследования не воспринимать более ничего, кроме запаха, звуков или следов на земле и в чаще. Тем не менее через эти отделенные впечатления животное еще воспринимает именно добычу. С помощью опыта, подкрепленного его желаниями и естественными стремлениями, животное быстро проходит путь в обратном направлении, и из простого следа возникают все реакции, все автоматизмы, относящиеся к вызванному цельному восприятию.

Нет нужды в том, чтобы сигнал и знак были известны тому, кто руководствуется ими. В действительности сигнал и знак, отделенные от целого, которому они предшествуют, не становятся вследствие этого разобщаемыми, и отношение, объединяющее их с данным целым, не оказывается тем, что можно было бы сформулировать. Достаточно того, что сигнал и знак влекут за собой соответствующую реакцию; их связь с ней подтверждается одним тем фактом, что имеет место не неудача, а успех. Совсем другое — символ и знак. С ними совершается удвоение между ними самими и тем, что они обозначают. Они представляют собой инструмент обозначения. Символ и

знак, следовательно, уже накладывают представление на действительность. Они противопоставляют обозначающее обозначаемому, но, впрочем, по-разному.

Символ в узком смысле слова — это объект, но объект, являющийся заместителем других реальностей: объектов, лиц, действий, учреждений, племен, каких-либо группировок и т. д. Он обменивает свою собственную реальность на реальность, которую он представляет. Он становится значением. Сам по себе символ — не представление, потому что символ — это нечто конкретное. Но его функция — уже функция представления. Представление остается еще отчужденным в объекте; его еще нельзя сформулировать для самого себя. Часто даже соответствующая реальность относится к тем, которые не схватываются непосредственной, конкретной, определенной интуицией: например, когда речь идет о том, чтобы рассматривать идеальные или неуловимые сущности только сквозь призму длительного исторического развития или более или менее диффузной множественности событий, велений более или менее безымянных существ. Отсюда та важная роль, которую может играть символ в отношениях между сознанием и действием. Символ является конкретным элементом, а его объект — абстрактным. Кроме того, символ представлен множеством степеней. Он развивается от простой эмблемы до математического символа, при помощи которого можно в нем одном представить совокупность операций, не выполненных, но уже предугаданных и распределенных. Между тем тогда символ присоединяется посредством своего графического выражения к некоторым формам языка в собственном смысле слова.

Знак достигает плана подлинного представления. С соответствующим объектом он может не иметь никакой связи по принадлежности, ни сходства или аналогии. Знак является только бессодержательной звучностью или произвольной, непонятной графемой без представления, которое он имеет возможность вызвать и от которого он получает свое содержание, свою роль и подлинное существование. Это символ, доведенный до того, что он больше не принадлежит к миру вещей. В то время, как символ становится совершенно посторонним этому миру, нужно, чтобы представление, заместителем которого он является, получило по отношению к своему

объекту подобную же независимость. Знак искусственен в той мере, в какой его форма и значение становятся более абстрактными, и его источник нельзя больше искать в вещах. Он включает как бы соучастие, объяснение с другими и необходимо имеет в качестве штампа общество.

Объяснение знаков и также большей части символов может быть только историческим. Что касается их места в эволюции на таком большом расстоянии от сигнала и знака, то оно может быть отмечено изображением, которое, повидимому, занимает промежуточное положение. Действительно, изображение уже более не является самим объектом. Это копия объекта, то более похожая, то более стилизованная, возникающая с намерением то более практическим, то более игровым или эстетическим. Но изображение еще связывается с объектом весьма конкретно через действие, превращающее как бы в конкретное объект, к которому оно стремится. В то время как знак и символ относятся к объекту через представление, с которым они связаны существованием, изображение — это то, что реализует представление в той мере, в какой оно формируется рядом с объектом или, чаще всего, в соучастии с ним. И именно благодаря этому оно находится дальше от объективного представления. Изображение является актом, который может привести к нему. Кроме того, изображение тесно соединяется с символами в мифах первобытных людей. В умственном развитии ребенка изображение занимает также большое место в связи со столькими играми, которые вдохновляются исключительно им.

* * *

Трудно решить, являются ли функциональные этапы, выраженные сигналом, признаком, изображением, символом и знаком, генетическими этапами. Как и во всякой эволюции, можно составить прогрессирующую серию, но гораздо более гипотетическим было бы указать, как совершается этот переход. Несомненно, деятельности, которые развертываются в подражании и протекают в изображении, как у ребенка в ходе его игр, так и в роде в течение существования наиболее отдаленных цивилизаций, противопоставляют прямым и постоянным связям взаимодействия между живым существом и его средой другой тип действия, строящийся по образу вещей и завершаю-

щийся в представлении и в мысли тем, что становится образом вещей. Но ведет ли прямая преемственность от подражания к представлению, от изображения к символической мысли? Так ставить проблему — значит ставить ее в слишком узком плане. Развитие функции не происходит через нее и для нее, в особенности тогда, когда дело касается психической функции и когда эта функция так тесно соединяется с коренным изменением, которым для человеческого рода явилось существование обществ, основанных на самосохранении сообща, на обмене, на всегда возможной трансформации представлений и идей, способность которых изменять жизненную среду человека возрастала с каждым днем. По тем же причинам, в силу которых человек стал тем общественным животным, каким он является, он получил способность формировать представления. Тем не менее важно определить функции каждую в отдельности, ведущих к представлению или способствующих ему. Оно включается во все то целое, которое можно назвать символической функцией в широком смысле. Именно на язык во всех его формах было в свое время распространено понятие символа, чтобы противостоять узко или скорее ложно реалистической концепции, которая отождествляет язык с его элементами и так называемыми элементами его элементов: словами и сенсорными или моторными образами слова. Но подобная критика была бы приемлемой в отношении представления, потому что оно неправильно отождествляется с элементами восприятия как последнее со своими сенсорными элементами. Представление не связано с вещами через посредство своего рода основного сходства. Оно занимает свое место в цепи, в которой следуют одни за другими заместители вещей, дающие возможность тем лучше манипулировать ими, чем более они сами подготовлены к манипулированию умственными операциями. Представление только использует символическую функцию языка, оно само является некоторым уровнем языка и символической функции.

Специфический характер представления подчеркивается афазией, когда старая схема языка, принятая неврологами, окончательно оказалась непригодной для того, чтобы объяснить хорошо наблюденные факты. Эта схема заключается в смешении с серией слов, составлявших ее, и слов со слуховыми и моторными образами, из которых

они сами были составлены. Когда какое-либо поражение разрушает место их записи в мозгу и слышимые слова нельзя более разобрать, то слова, соответствующие идеям и намерениям субъекта, не могут больше отчетливо произноситься. Нарушением является материальная потеря каждым словом собственных компанентов.

Нечто от этой концепции сохраняется у тех психологов, которые считают, что попугай заговорит, если добавить к гибкости его вокализации интеллект шимпанзе, и также, что якобы заговорит шимпанзе, если его интеллект будет обслуживаться гортанью попугая. Это значит свести язык в собственном смысле слова к простым связям между слуховой и фонокинестезической деятельностями и считать его внешним инструментом в мысли, которой он мог бы служить или не служить тогда, когда мысль не изменяется существенно. Не внушает сомнений, что, несмотря на монотонность своих криков, шимпанзе добавил бы к ним то из дополнительных действий, что необходимо для того, чтобы выработать язык, если он органически и функционально построен так, чтобы он мог замещать вещи образами и символами. Итак, то, что назвали словарем шимпанзе, ограничивается какими-то тридцатью криками, дифференцирующимися между собой тогда, когда различны ситуации, которым они соответствуют. Но эти звуки производятся всегда только в определенных ситуациях и, следовательно, связаны с ними, поскольку они находятся в группе реакций, которые эти ситуации могут вызвать. Кроме того, они совсем не кажутся обусловленными влиянием группы на индивидуумов, тогда как для человеческого языка характерно то, что он является коллективным, с которым каждый должен согласовывать свою лингвистическую деятельность.

Ассоцианистическая и атомистическая теория языка в конце концов разоблачается не только потому, что она не согласуется ни с лучше изученными нарушениями языка, ни с тем, что наблюдается в обучении языкам, но также и потому, что она постулирует как элементы слова существование образов, в частности моторных, реальность которых почти непостижима или, по крайней мере, совершенно посторонняя эффективному выполнению движений. Созданное из этих образов, которые более или менее усваиваются структурами или даже элементами нервной

системы, само слово получает из этого своего рода неизменную индивидуальность, которая превращает его как бы в абсолютную основу языка.

Слова являются не начальным и конечным элементом, а, наоборот, только действием. Существование их в известной мере случайно; основной является функция, дающая возможность замещать реальное содержание намерениями или мыслями, а образы, выражающие его, — звуками, жестами или даже объектами, не имеющими другого отношения к ним, кроме действия, через которое устанавливается связь. Именно к этой возможности замещения и сводится символическая функция, которая не является простой суммой определенных жестов. Она — это то, что устанавливает связь между каким-либо жестом в качестве обозначающего и объектом, действием или ситуацией в качестве обозначаемого. Впрочем, символическая функция — не добавление, а удвоение, не ассоциация двух реальностей, разъединенных простейшим образом. Ошибка представителей ассоцианионизма заключается в его стремлении составить психическую жизнь в ее началах из элементов, которые можно изолировать в индивидуальной форме только в плане их развития и дифференциации. Символическая функция — это способность находить в объекте его представление, а в его представлении — знак.

Действительно, кажется, что сложившиеся языки навязываются извне. В языках следует научиться соединять каждый элемент с соответствующим понятием. Но то, что делает такое обучение возможным, является самой символической функцией. Когда ее не оказывается, соединение остается частным и зависящим от случая. Это простой факт дрессировки, строго ограниченный обстоятельствами, вызвавшими его, дрессировки, лишенной всякого значения. Это хорошо показывают примеры психической немоты без интеллектуальной деградации: можно побудить больного произнести некоторое целое из слогов, когда ему показывают какой-либо объект; гораздо труднее заставить его найти объект, когда он слышит те же самые слоги [1]; но особенно он быстро лишается этого приобретения, если оно не было поддержано и ему (приобре-

---

[1] H. W. L'interrogation chez l'enfant, J. de Ps. N, et P. janv. — mars 1924.

тению) не удается ни обобщаться, ни произвести замещение одного слова другим.

Впрочем, между обучением иностранным языкам и родному языку имеется разница. Обучение родному языку не начинается с противопоставления уже сформированной системы намерений и мыслей как негибким инструментом, ни структуры, ни употребления которого ребенок не знал бы. Имеющийся здесь подход — это нечто тесно переплетенное с отношениями ребенка к его окружению, что точно так же тесно переплетается с его потребностями и желаниями, что затем становится для него источником различных знаний и откровений, гораздо более обширных, чем те, которые обусловлены непосредственным знанием вещей. Здесь даже два мира, которые ребенку не всегда удается согласовать без конфликтов и бессмыслиц.

Подчинить знаки символической функции — значит отдать себе отчет в их относительности. Значение знаков выходит за пределы их чисто формального существования. В некоторых пределах они могут обмениваться, модифицироваться, изменяться, причем мысль не обязательно задерживается и деформируется. Слово может уступить место простому жесту. Язык жестов мог бы даже предшествовать звуковому языку. Рука была первым инструментом для выражения связей. Кюзинг (Cushing) считает, что он нашел у первобытных людей следы жестикулятивных понятий. Сначала голос лишь аффективно подчеркивал описательные жесты руки. В употреблении самых слов существует большая относительность. Несомненно, для взрослого, твердо усвоившего некоторую языковую систему, переход от одного языка к другому, кажется, совершается буквально как бы с помощью словаря. Но в данном случае знание и употребление языка остаются утомительными и плохо усвоенными. Идеалом является умение «думать» на употребляемом языке, т. е. слово, отошедшее на второй план, должно следовать за мыслью как бы автоматически. У одного ребенка, говорящего на двух языках, с которым всегда одни и те же лица говорили на одних и тех же языках Ронят (Ronjat) мог констатировать, что два языка сосуществовали, причем ребенок даже не замечал этого. Слова разделялись в зависимости от того лица, к которому ребенок обращался; он верил, что он точно повторяет то, что ему только что сказал отец, в то время, как он переводил это своей ма-

тери. Это означает, что знак постепенно искореняется значением.

* * *

Но при своей внешней тождественности сам разговорный язык далеко не представляет собой точной функциональной тождественности. Здесь необходимо отметить разные планы, существование которых часто не осознается, потому что в практике нередко переходят от одного к другому. Тем не менее афазия может устранить язык в его высших формах и оставить наиболее примитивные.

Речь начинается *криком*, относящимся к комплексу психо-физиологических реакций, вызванных критической ситуацией момента. Она обладает тогда экспрессивным значением, но оставляет вне себя все содержание представлений. Эквивалентом этому в речи взрослого является восклицание, которое может быть средством объединения между индивидуумами и развертывается как своего рода соучастие или эмоциональные комментарии в то время, как развивается ситуация, сцена, рассказ. Восклицанием здесь подчеркиваются перипетии, и благодаря своим разнообразным модуляциям оно может как бы символизировать событие, по мере того, как оно происходит. Оно может также обозначать потребность. Это оптативная и императивная речь, первичная форма речи у ребенка, для которого его отношения с внешним миром чаще всего требуют вмешательства другого. Итак, для ребенка речь — обычный способ добиться осуществления своих желаний. Нет ничего удивительного в том, что это свойство речи назвали магическим.

Речь тогда тесно переплетается с чувствительностью говорящего субъекта. В ней есть нечто необдуманное и примитивное, что ставит ее в зависимость от обстоятельств и что, следовательно, не ставит проблемы порядка, в котором она должна детализироваться. Но каким бы ни было экспрессивное значение этой речи для другого, она имеет для самого субъекта только небольшое значение в области представлений. Представление, в той мере, в какой оно может существовать, является гораздо более совокупностью ситуации и вызванных реакций, чем устным выражением, взятым изолированно. Положение изменяется тогда, когда речь не представляет

собой больше простого следствия из обстоятельств или желаний, когда она становится приказанием, то есть когда она сопровождает не только испытываемые впечатления, но и действие, которое следует выполнить. Тогда можно выражать и направлять порядок, вносимый в действие. Следовательно, речь должна сама представляться в форме последовательности, и этой последовательностью ставится задача.

Но еще более трудным случаем является тот, когда нет более взаимной поддержки развертывающегося действия и комментариев или приказов, которые сопровождают его; когда речь, так сказать, предоставлена самой себе и должна вызывать в представлении ситуацию или объект таким образом, чтобы они не были причиной других реакций, какими являются, например, сенсомоторные реакции, которые могли бы вызвать их присутствие. Тогда порядок последовательности членов, которыми должна выражаться идея, знание, мысль, требует, чтобы полностью развивалась данная функция.

Чтобы это показать, достаточно вспомнить этапы, через которые проходит усвоение языка. Здесь еще, как и в случаях не буквального, а новаторского подражания, имеет место импрегнация, длительный инкубационный период, интеграция и способность различения многочисленных впечатлений, испытываемых ребенком. Продолжительность этого латентного усвоения может быть измерена временем, протекающим между моментом, в который ребенок схватывает смысл того, что говорится вокруг него, и моментом, когда он показывает себя способным произносить слова. Действительно, понимание вещей ребенком долго остается общим. Оно может быть больше связано с интонациями, с членением фраз, с ситуациями, которые они сопровождают, чем с частями слов. Тем не менее можно постепенно составить список выражений, понимание которых уже достигнуто ребенком в то время, как он еще неспособен сформулировать никакое из них.

Затем наступает момент, когда ребенок сам ищет возможности выражаться иначе, чем с помощью жестов или восклицаний. Но слова, которые он произносит, являются конденсированием объекта и действий или желаний, соответствующих им. Первоначально это отдельные вокабулы, слова-фразы, вначале состоящие из двух подобных или

слегка различающихся слогов: додо, лоло, папо (для шляпы).

Шаг, который ребенок должен тогда сделать, имеет что-то существенное. Его речь необходимо должна расчленяться во времени, тогда как вещь, которую надо выразить, соответствует моменту его сознания. Распределение во времени того, что сначала представляется как простая мгновенная интуиция сознания, есть, несомненно, самая деликатная операция языка и дискурсивной мысли. Это случай, известный для каждого, кто испытывает затруднения в описании или в рассуждении, не зная, как за них взяться и в каком порядке продолжать их. С тем же самым затруднением мы сталкиваемся и в развитии речи на ее различных уровнях. Что касается последовательности и согласования предложений в фразе, то долго ребенок умеет говорить только смежными фразами и главными предложениями. Что касается соединения слов в предложении, то дети младшего возраста просто присоединяют их друг к другу без частиц, без форм связи; это то, что называют аграмматизмом или разговором маленького негра (parler petit-nigre). Фразы самых маленьких детей состоят только из одного слова, и эти слова — из одного повторенного слога.

Сравнение с афатиками показывает, что способность организовывать продолжительность во времени в зависимости от психических представлений является основным условием речи. Ибо в то время, как рушится построение, согласно которому язык основан на образах, и по мере того, как выдвигается на первый план его определение как символической функции, старое различение афазии на сенсорную и моторную в зависимости от того, с чем она кажется больше связанной — с потерей слуховых или моторных образов, — уступает место другим различениям, в силу которых (применительно к уровню его болезни) синтаксический порядок слов в предложении или порядок фонем в слове ускользают от афатика и делают его неспособным переходить либо от звуков к смыслу, либо от смысла к движениям артикуляции.

Но другим сопоставлением, имеющим большое значение, является часто отмечаемая одновременность расстройства речи с нарушением способности распределять предметы в пространстве. Как элементы слов или фразы, они также имеют тенденцию скопляться, смешивать свои

13 Зак. 1363. Анри Валлон

положения вместо того, чтобы размещаться с интервалами или в указанных направлениях. Они более не устанавливаются в определенном порядке, хотя бы это было простым расположением по прямой линии. При наличии этих фактов нельзя не вспомнить, что практический интеллект также связан с возможностью узнавать, использовать, изменять диспозиции перцептивного поля. Замеченные контрасты между интуитивным пониманием ситуаций и дискурсивным пониманием, которое нуждается в речи для своего выражения, не мешают видеть, следовательно, то, что на разных уровнях они зависели от подобных условий. Нарушенными связями для афатика являются связи предметов, которые находятся в объективном пространстве. Для шимпанзе, желающего добраться до своей добычи, несмотря на расстояние или препятствия, необходимо преобразовать связи в пространстве в зависимости от своих собственных двигательных возможностей: следовательно, он не отрывается от сенсомоторной действительности. Когда, напротив, связи объектов в пространстве стали чуждыми тому, кто их воспринимает, они могут сублимироваться и превратиться в скрытую способность распределять перед собой не только вещи, но и моменты мысли. Несмотря на это существенное различие в обоих случаях, тем не менее, преодолеваются аналогичные конфликты. Конфликты практического интеллекта противопоставляют желанию, непосредственно побуждающему животное к добыче, обстоятельства, которые необходимо отобрать и сделать используемыми, комбинируя их. Конфликты дискурсивного интеллекта происходят между интуицией, стремящейся к общему выражению, и материалом речевых оборотов или формул, между которыми также нужно сделать выбор и которые нужно привести в соответствующий порядок.

Орган этого выражения — язык, — тем не менее, не связан с мыслью так, как будто он является только сенсомоторной копией. Он также представляет собой различные функциональные уровни. Если язык присоединяется к представлению как средство вызвать его, как заместитель его в умственных операциях и, наконец, как разграничитель, который дает ему возможность неодинаково классифицироваться в различных системах представлений, то он может оставаться также чуждым представлению и заимствовать значение только из аффективности

субъекта. Следовательно, язык также является источником возможных реакций, противоположных друг другу, что часто легко осознается в дискуссиях или словесных импровизациях.

Глава II

СИНКРЕТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Как в каждое слово языка следует, по общему мнению, вкладывать определенный и постоянный смысл, так и мысль часто рассматривается как система строго ограниченных понятий. Подвести под эту систему необходимые и неизменные принципы являлось целью философов, которые, подобно Аристотелю и Канту, пытались вывести категории разума. Еще в наши дни Леви-Брюль противопоставлял мысль первобытных людей, которую он считал «прелогической», мысли «понятийной», рассматриваемой им как тип не только нашей современной мысли, но также и всякой мысли, способной достичь познания мира. Ясно, что точные определения необходимы для того, чтобы понимать и не смешивать, но их понятийная статическая форма является постоянной причиной затруднений и противоречий, которые могут быть преодолены различными способами в зависимости от эпох, случаев и даже лиц. Идею понятия и его связей с действительностью необходимо изменить.

Начиная с наиболее конкретной стадии сознания, различие между ребенком и взрослым проявляется в неизбежной тенденции стабилизировать представления о вещах в постоянных и в некотором роде нормативных образах, где разнообразие аспектов, в которых они предстают в перцептивном поле, было бы сведено к фиксированной структуре. Взрослому гораздо лучше удается получить лишь один образ объекта, какими бы разнообразными ни были его аспекты. Этот образ дает возможность значительно большего понимания, он способен поглотить все воспринятые или случайные образы объекта. У ребенка, наоборот, существует своего рода прерывность между различными образами одной и той же действительности. Они являются одновременно и более многочисленными и более статичными. Образы отождествляются группами,

не имея способности превращать одни в другие и сводить одни к другим.

Из этого следует, что представления ребенка являются гораздо более косными, менее адекватными и в каком-то смысле более абстрактными. Ребенок, неспособный приноровить их к разнообразию аспектов, принимаемых объектом, часто противопоставляет то, что он знает, тому, что он видит. Разные авторы также распространяют на представления детей проводимое Люке (Luquet) в связи с их рисунками различие между *интеллектуальным реализмом* и *зрительным реализмом*. Ребенок рисует объекты не такими, какими он должен был бы видеть их, а такими, какими он знает их. Из сторон дома он выстраивает в ряд в одном и том же плане две или три его стороны, тогда как они неизбежно заслоняют друг друга, или же он изображает содержимое дома так, как если бы его стены были прозрачными. Впрочем, ребенок часто ограничивается тем, что располагает рядом элементы объекта, по мере того, как он вспоминает их, то внутри, то даже вне его контуров: например, рядом на одном и том же лице один глаз в профиль, а другой в анфас или же цепь велосипеда или справа, или слева, или под двумя колесами. Зрительный реализм, напротив, состоит в том, чтобы изображать вещь такой, какой ее представляют взору законы перспективы. Согласно Пиаже, у ребенка зрительный реализм и интеллектуальный реализм сосуществуют, один — в сенсорном плане, в котором он соответствует данным опыта, другой — в плане мысленных представлений, в которые получают доступ с опозданием, зависящим от закона перестановки, наиболее трудные операции ума, достигающие последовательно той же стадии, что и более элементарные.

Уподобление сенсорного плана плану, в котором опыт был бы уже полностью реализован, является, несомненно, слишком простым. Практический интеллект, развертывающийся в сенсорном или сенсомоторном плане, действительно, проявляется различно у ребенка и у разных видов животных в зависимости от сложности сочетаний, которые он способен осуществить. Геометрические и механистические отношения, вводимые практическим интеллектом, не являются необработанными данными его контакта с вещами. Они связаны со способностью констелляции и психической организации, уровень которой

поднимается от животного к человеку и изменяется в зависимости от индивидуумов. Всякая структура, осуществленная между частями сенсорного поля, — уже акт понимания. Следовательно, невозможно рассматривать область чувств как почву, куда были бы введены все отношения, где их можно было бы обнаружить при помощи анализа и вложить в интеллектуальные формулы. Сенсорное поле изменяется вместе со структурными возможностями, которыми располагает действующий или думающий субъект.

Это, однако, не говорит ни о том, что существует конструкция разума, ни о том, что действительность является проекцией мысли. Во всяком процессе практических реакций или психической эволюции интеллектуальные констелляции подчинены реальной структуре вещей. Констелляции от более элементарных до более умозрительных интеллектуальных — являются средством воздействия на вещи. Необходимо, чтобы неадекватные констелляции изменялись, недостаточно адекватные констелляции уточнялись и улучшались. Именно это и может наблюдаться у ребенка, который подходит к миру с багажом схем, сначала слишком частных и слишком грубых для разнообразия опыта, и интеллектуальное развитие которого заключается в постепенном приспособлении его представлений к вещам. Впрочем, те же самые степени дали бы возможность отличать взрослых друг от друга. Среди взрослых имеются такие, которые ограничены или интеллектуальными, или эстетическими, или моральными шаблонами, которые живут в косности, создававшейся постепенно. Это те, кто не может ничего открыть, неспособен сделать никаких нововведений в какой-либо области. Другие, наоборот, оригинальны; это те, кто умеет лучше всего обнаружить несоответствие между принятыми схемами и действительностью.

Без этих разногласий, хорошо показывающих противоречия между действительностью и несовершенными образами, которые разум создал из нее, без этого предшествования внешней реальности сознанию, мир быстро стал бы неподвижным образом, как это и было в первобытных цивилизациях, в которых на социальные комбинации накладывался преобладающий отпечаток интеллектуальных связей с вещами, в которых мистические, а не натуралистические представления господствовали над тем

знанием, которое человек имеет о мире. Тогда идеалом была традиция, неизменяемость формул. Действительно, одни и те же верования упорно держались долгие века. Лишь тогда, когда деятельность больше направлялась на изучение техники, при помощи которой вникали в структуру вещей, в представления человека были внесены быстрые изменения.

Противоположность между зрительным или сенсорным реализмом и интеллектуальным нельзя, следовательно, считать противоположностью опыта в себе и запаздыванием его понимания во всем разнообразии его аспектов и связей. Именно в сенсомоторном плане, в котором развертывается практическая деятельность, может существовать бедность или богатство используемых связей, соответствующее постоянство или обновление форм поведения, простой автоматизм и рутина или изобретательность. Стереотипная схематизация интеллектуального реализма имеет свой эквивалент в поле сенсорно-моторных реакций.

Противоположность — в другом. Если в рисунках ребенка зрительный реализм часто отдаленно следует за интеллектуальным реализмом, то не следует приписывать это тому, что лишь тогда ребенок становится способным представлять себе вещи в их истинном виде. Скорее он научился обращать внимание, различать каждый аспект вещи в данный момент среди всех, предстающих перед глазами ребенка. Необходимо, чтобы у ребенка было сознание того, что под этим образом он может поместить всю реальность, все значение вещей, не присоединяя сразу дополнительные аспекты к нему. Отдельный образ не является исходной точкой. Восприятие начинается с увеличения количества точек зрения для потребностей практической деятельности, в которой оно сначала растворяется. Мысленно реализовав тождество объекта во всех его возможных аспектах, нам можно будет узнавать его в случайной форме, приписывая ему его константные восприятия, являющиеся фактом познания. Зрительный реализм вместо того, чтобы смешиваться со спонтанными источниками чувствительности и опыта, предполагает уже развитую способность отбора, отождествления, символизации.

На стадии интеллектуального реализма ребенок затрудняется копировать предмет. Он рисует его по памяти или скорее по некоторым схемам, весьма упрощенным и

более или менее стереотипным. Ребенок рассказывает о предмете по мере того, как вспоминает его детали, в виде скорее случайной, чем систематической описи. Помещенный перед предметом, который он должен воспроизвести, ребенок, как только даст себе отчет в «мотиве», больше не смотрит на него; он описывает его так, как позволяют ему его возможности передать то, что он держит в уме; причем он часто заменяет ими как мысленную модель, так и объективную модель. Сравнение между графической транскрипцией и воспринимавшейся моделью действительно предполагает уже сложную возможность удвоения и контроля. Когда транскрипция выходит за пределы простых условных образов действия и стремится уже к эффективному представлению объекта, она сначала соединяется со своим ортоскопическим аспектом, лучше всего отвечающим обычной структуре. Ибо ребенку еще трудно осуществить равновесие между этой структурой-типом и всем тем, что может отягощать ее. Наконец, ребенок приступает к простому соположению: развертывает фасады дома рядом, в той последовательности, в какой он вспоминал о них. То же самое имеет место в отношении предметов, которые содержит дом или части лица. Их соединение не отвечает их локальным отношениям, не составляет структуры, но часто определяется оставшимся на бумаге свободным местом.

Следовательно, интеллектуальный реализм у ребенка — это еще негибкая, более или менее распыленная и стереотипная форма представления. Несомненно, он предполагает уже интеграцию последовательных впечатлений, но это интеграция, которая поглощает их, не будучи в состоянии в известных случаях дать каждому его значение. Она нейтрализует их различия и уничтожает их индивидуальность. Эта интеграция соответствует важнейшей и элементарной потребности практически узнавать вещь ради нее самой, не в ее непостоянных связях. Именно потому, что она стремится только к этому, она оказывается неспособной объединить все аспекты вещи, когда они слишком расходятся. Так она заменяет разнообразие не только аспектов, но и вещей образом, строгое постоянство которого неизбежно превращает его в условный. Когда Бюлер объявляет, что ребенок не воспринимает вещей, но в случае их наличия — воспринимает свои собственные воспоминания, он в неадекватной форме

выражает точный факт. Здесь речь идет не о воспоминаниях в собственном смысле слова, а о той сущности, которая позволяет при каждом новом впечатлении распознавать основное в ситуациях или вещах и которая еще не согласуется с каждым частным случаем.

В действительности ребенок не поступает иначе, чем взрослый, который при каждом впечатлении начинает с отождествления его со всем своим прошлым опытом. Но вместе с тем формулы его опыта имеют гораздо большую точность, более изменчивую способность выражаться в образах или символах. Способность отождествления расширяется вместе со способностью интерпретировать формы, придавать им значение.

* * *

Эти отношения интеллектуального реализма и сенсорного дают возможность разрешить и другое противоречие: противоречие единичного и общего. Разве одно или другое вначале воспринимает и понимает ребенок?

Конечно, он живет в конкретности, в актуальности, что смешивается в значительной степени с чистой сенсорностью. Он кажется более или менее неспособным выйти за пределы настоящего впечатления. Его занимает лишь тот один объект, который только что встретился в его деятельности. Истинное сравнение объектов выше его способностей. Если ребенок переходит от одного к другому, то это происходит, как говорит Штерн, благодаря *трансдукции*, то есть только переходя последовательно от одного к другому. Если ребенок устанавливает связь между объектами, то это связь чисто субъективного или практического порядка. Это уподобление, зависящее от настроения ребенка, его нужд или некоторых впечатлений, между которыми он не умеет провести различия. Если он узнает сходство, то это простое узнавание в присутствующем объекте прошлого опыта, но оно не может привести его к размещению настоящего случая между многими другими в рамках данной рубрики, категории. Если ребенок расширяет применение общей формулы от одного объекта к другому, то это происходит благодаря *переносу* с одного объекта на другой чисто конкретного и практического опыта. Ребенок действует с помощью *аналогии*, то есть он объединяет объекты как бы субстанционально, а

не как образцы одного понятия или одного типа, самого по себе анонимного. В этом смысле ребенок воспринимает только частное. Он переходит от единичного к единичному.

Но способен ли он уловить единичное как таковое, различать между собой индивидуумы? Что же, действительно, воспринимает ребенок в единичном, как не то, что заставляет его смешивать индивидуумы? Вместо того чтобы классифицировать их, он более или менее грубо уподобляет их, и лишь событие побуждает его время от времени проводить различие фактически. Так, ребенок начинает называть всех мужчин «папа», вплоть до того дня, когда он будет обманут в своем ожидании привычных действий, если это не его отец. Каждый раз, как ребенок переходит от одного объекта к другому, который уподобляется следующему за ним, он приписывает новому все то, что знает о первом, но смутно и так, что он может или добавить ко второму нечто, не включенное в него, или же забыть в его присутствии нечто, составлявшее часть первого. Таким образом, ребенку часто случается одновременно избегать противоречий и создавать себе иллюзии, «выдумывать», как обычно говорят. В действительности ребенок тогда ограничивается тем, что не исключает из нового объекта то, что не присуще ему, а идет от предшествующего опыта. В итоге ребенок только незаметно дополняет объект или в зависимости от какой-либо прежде приобретенной привычки, или под впечатлением хорошо выделенной отграниченной структуры, как такой, в которой заложены все его впечатления, до тех пор, пока он бессилен реализовать дифференцированные структуры объектов, имеющих между собой некоторое сходство. Именно в этом смысле восприятия идеи ребенка выходят за пределы единичного; это неумение достаточно точно приспособиться к структуре.

В этом нет ничего, что соответствует противопоставлению общего единичному. Ибо общее выходит за пределы единичного, поскольку индивидуум может быть подведен под четко определенную рубрику и через ее посредство сравниваться с другими, то есть в случае необходимости быть отдифференцированным. Здесь речь идет скорей о родовой связи, которая устанавливается между вещами чувствительностью и мыслью ребенка, ассимилируя их между собой в большей или меньшей степени. Сходство,

раскрываемое ребенком в вещах, является результатом деятельности, главным образом его интеллектуальной, перцептивной или аффективной деятельности. Впечатления, привычки, намерения, опыт, которые он стремится приобрести в деятельности, составляют их общую субстанцию. Ребенок объединяет их в той мере, в какой его интересы и его поведение заставляют его самого участвовать аналогичным образом в их существовании; а также в той мере, в какой он может забыть в течение настоящего опыта что-нибудь из предыдущего, относя к настоящему иногда незаконно что-нибудь из прежнего. Ребенок постигает не больше общее, чем единичное. Образ вещей у ребенка одновременно подчинен его непосредственным или усвоенным стремлениям и обстоятельствам момента. Этот образ является не аналитическим и понятийным, а общим и личным.

Именно этой совокупности черт было дано название *синкретизма*. Синкретизм одновременно противопоставляется анализу и синтезу, представляющим собой две взаимодополняющие операции. Никакой анализ невозможен без хорошо определенного целого; нет никакого синтеза без элементов, разъединенных, а затем соединенных или воссоединенных. Преимущество этой операции в том, чтобы точно знать, из чего состоит совокупность, являющаяся результатом синтеза. Всякое усилие сознания или логики направлено к этому точному определению частей, факторов, аргументов, входящих в объект, процесс или рассуждение. Синкретизм ребенка остается чужд этому двойному движению расчленения и воссоединения.

Впечатления, создающиеся у ребенка в каждой ситуации или при рассмотрении каждого объекта, образуют конгломерат, в котором смешиваются аффективные и объективные мотивы его опыта, хотя обычно ребенок не умеет различить их. Один из этих факторов может в зависимости от случая одержать верх над другим, частный мотив заслоняет на короткое время остальное настолько, что между данными ситуациями, данными объектами, ребенок может установить определенную родственность, имеющую смысл только для него и рассматриваемую взрослым как странную или абсурдную. Случайное часто занимает место существенного или скорее нет ни случайного, ни существенного, а имеется лишь целое, одновременно переживаемое ребенком. Ему

часто кажется, что все находится во всем, что он может переходить от чего угодно к чему угодно. И наоборот, у него нет никакого общего мерила для объектов или ситуации. Это совокупности, через посредство которых сознание и поведение ребенка могут — хотя он этого не замечает — изменяться по мере того, как он переходит от одной ситуации к другой.

Одним из следствий этих перемен, с которыми ребенок недостаточно знаком, является то, что он имеет лишь смутное представление о характерных для вещей изменениях. Ребенок живет в своего рода неопределенной и постоянной метаморфозе, которой отчасти объясняется та легкость, с какой ребенок допускает сказочные метаморфозы. Полный переход от другого к другому так же, как общее сведение к одному и тому же случайных различий, несовместим с подлинным понятием, изменения, которое предполагает строгое отождествление того, что является тождественным, и одновременно восприятия постоянных и специфических различий. Необходимы постоянные термины, ориентиры, и для начала необходимо постоянство самого субъекта по отношению к тому, что он наблюдает, или тому, что он сравнивает. Итак, ребенок изменяется по мере того, как он переходит от одного опыта или одного наблюдения к другому.

Считая себя постоянным, он верит в постоянство всего. Каждое из его представлений имеет нечто абсолютное и статическое. Изменчивость, постоянство — это два переменных фактора.

* * *

Пытаясь выйти из рамок этого несовместимого ни с чем и общего знания, которое ребенок вначале имеет о каждой ситуации в момент, когда он видит или воображает ее, пытаясь освободить представление от объекта и расчленить обстоятельства, которые он находит смешанными, ребенок сталкивается с затруднениями, несомненно, общими у него с представлениями первоначальных цивилизаций, но которые трудно представить себе потому, что их можно сформулировать, только используя именно те слова, с помощью которых они преодолеваются. Если бы не предполагалось, что проблема решена, то затруднения были бы не выражены. Тем не менее ребенок имеет то большое преимущество перед первобыт-

ным человеком, что решение уже готово к тому моменту, когда созревание его интеллектуальных способностей даст возможность ребенку воспользоваться этим решением.

Различение между *одним* и *множественным* является одним из самых очевидных затруднений среди этих затруднений в поведении ребенка: оно может уже дать повод к некоторым упражнениям, предлагаемым взрослым. Такое различение предполагает индивидуализацию в сложной массе впечатлений и вещей в их бесконечной последовательности того, что должно составлять единство, того, что должно, повторяясь, присоединиться к самому себе. Итак, восприятие дает только совокупности, воспринимающиеся именно благодаря их объединяющей структуре. Даже то количество, которое в настоящее время дано, воспринимается как таковое прежде всего в своей качественной целостности. Счет у первобытных людей показывает, что прежде, чем сосчитать сумму — единицу за единицей, — ее сначала расчленяют на группы, каждая из которых обладает своими средствами представления и особенностями, наполовину арифметическими и наполовину мистическими. Это совокупности-числа Леви-Брюля. Их существование основано не только на одних верованиях, но также и на потребностях перцептивной и интеллектуальной интуиции. И необходимо преодолеть их начальную гетерогенность для того, чтобы, наконец, найти единицу, эту абстракцию, всегда подобную самой себе, какими бы ни были числовые комбинации, в которые она входит.

Различению одного и множественного родственно различение *части* и *целого*, которое предполагает способности или объединить в новой реальности то, что сначала практический, чувственный или интеллектуальный опыт дал разрозненно и бессвязно, или, наоборот, открыть в том, что представляется как общее без различных и разложимых частей сopoложенных или сочлененных элементов между собой. Эти две противоположные операции, повидимому, взаимообусловлены, но если одна первична по отношению к другой, то оказывает влияние именно вторая. Действительно, ребенок показывает себя гораздо более способным отделить элементы от целого, которое дано ему сразу, чем объединить то, что встречалось в его опыте разделенным, и смело создать новую

группировку. Между тем расчленение целого может привести к представлению о частях только при условии наличия уже существующего понятия целого. И затруднение возникает позже, когда ребенок должен больше не вычленять конкретно из объекта или группы их части, сохраняя образ целого, а абстрактно представлять себе целое и сравнивать с ним части, извлекая их из него. По своей арифметической эффективности сложение в значительной степени предшествует вычитанию, но при обращении с вещами часть отделяется от целого прежде, чем добавляется к другим для того, чтобы образовать его.

Другим затруднением, уже предопределенным предыдущими, но продолжающим их, является затруднение, которое заключается в сравнении *идентичного* и *различного.* Прежде чем обладать способностью расчленять и воссоединять какую-либо реальность, нужно было уметь отождествлять ее, то есть уметь отличать эту реальность от того, что не является ею. К тому же, повторяясь, этот процесс расчленения и воссоединения развивает способность отождествления; он ведет к узнаванию того, что не только различно, но и подобно в большей или меньшей степени. Протекая в плане практической и ощущаемой реальности, данный процесс выявляет фактическое соответствие и несоответствие, но их истолкование с точки зрения качества открывает весьма широкую дорогу определению и классификации.

Еще более элементарной кажется проблема *того же самого* и *другого*, которую взрослый с развитым сознанием без затруднений считает несуществующей, имея принцип тождества в качестве одного и того же постулата мысли. Эта проблема, напротив, доставляет очень большое затруднение ребенку, для которого ни единичное, ни объект как таковые не являются первичными данными. Но стремления, потребности, привычки ребенка ведут к тому, что он добивается или собирает без различия все то, что может соответствовать им. Поле смешения может оставаться весьма обширным, пока не встретятся обстоятельства, которые заставят ребенка проводить более точный и более различающий выбор. Различение того же самого и другого необходимо для отождествления всего объекта. Оно предполагает способ различения вещи и ее качеств, классификации ее среди

других вещей применительно к степеням или разнообразию ее качеств, возможность видеть изменение ее качеств или их степени, не упуская из виду ее тождество. Случается, что ребенок неспособен к этому. Он охотно приписывает каждому объекту реальность в себе, тогда как не умеет отличать другие объекты, в большей или меньшей степени подобные. Случается, что ребенок разделяет один и тот же объект на многие, если он встречает его или должен представить себе его в разных аспектах. Между тем то же самое и другое, повидимому, имеют источник в гораздо более примитивном различении — в пространственном противопоставлении *здесь* и *в другом месте*. Известным этапом для маленького ребенка является момент, когда он научается замечать, что какой-либо объект исчез, и искать его в том направлении, в каком он исчез, не отвлекаясь другим. Подобный прогресс должен иметь место в плане представления для того, чтобы объект сохранял свою тождественность среди других объектов, несмотря на чередование их изменчивости или перцептивное отсутствие.

Принимать все эти понятия как бесспорные и априорные данные — значит закрыть путь к пониманию конфликтов, из которых возникает мысль, которые необходимы ребенку, которые стимулируют его усилия. Когда вместе с вычислением он изучит, как бы грамматику связей, на которых основывается существование групп, их возрастание и уменьшение, существование целого и законы его образования или расчленения, иначе говоря, его числовую структуру, тогда ребенок уже конкретно решит проблему одного и идентичного. Он уже раз решил, по крайней мере в простейшей форме, основные противоречия, потому что они могут появиться вновь, когда дело будет касаться более сложных операций и более абстрактных объектов.

Необходимо уметь обнаруживать различные аспекты противоречий, с которыми сталкивается ум ребенка тогда, когда он занят своей трудной работой отождествления и классификации на основании данных опыта; уметь отождествить единицу, т. е. выделить ее из совокупности, в которой она была воспринята и с которой смешано ее существование; отождествить ее как отчетливую единицу вместо общей единицы и подозревать или открыть, что она сама является совокупностью; отождествить объект

с ним самим в то время, как он изменяется: отождествить пустой рожок с полным, узнать, что дело касается одного и того же молока, хотя оно является объектом желания, когда ребенок голоден, и отталкивается, когда он сыт; уметь воспринять одновременно и устойчивую тождественность каждой вещи, и возможно большую общность любого признака среди постоянных изменений, которые передают изменяющиеся настроения ребенка, разнообразие объектов, трансформации того же самого.

Возможность преодолеть такое количество противоречий предполагает возможность приписывать объектам и их свойствам существование, так сказать, высшее и предшествующее тому, которое в данный момент ощущается самим или другим. Необходимо стать способным воспроизводить синтез объекта и его свойств после того, как они были противопоставлены друг другу. Предварительные попытки, продолжающиеся иллюзии ребенка показывают, что эта операция предполагает психический опыт и созревание. В самой действительности, такой, какой она дается ему жизнью, ребенок должен уметь противопоставлять образ этой действительности. Это замещение, которое не проходит без столкновения и противоречий. По своей природе представление антиномично тому, чем оно тем не менее обладает в качестве функции выражения и передачи. Представление открывает ребенку целую новую серию противоречий, которые нужно преодолеть.

Глава III

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДИСКУРСИВНОЙ МЫСЛИ

Противоречия практического и дискурсивного интеллектов не мешают им иметь некоторые общие условия. Но эта общая основа, подведенная под соответствующий каждому из них план деятельности, не устраняет конфликтов и противоречий между ними. Язык — необходимая опора представлений, по крайней мере тогда, когда они должны свободно распределяться каждый в отдельности, чтобы вынудить нас выйти за рамки данных непосредственного текущего опыта, то, что является условием мысли и знания,— предполагает некоторую способность пространственной интуиции. Также практиче-

ский интеллект тем более развит, чем на более развитой способности схватывать геометрические отношения или положения между объектами, одновременно воспринимаемыми в поле восприятий, основывается он.

Пространство включается в любое упорядоченное движение вместе с последовательностью тех мест, где оно развертывается. Этот порядок, согласно Пьерону, вносится в нервную систему. Регулирующие локализации, соответствующие рефлексам, являются результатом связей, предшествующих всякому опыту, всякому обучению. Движение, по крайней мере не бессвязное, действительно предполагает элементарную организацию, которая могла бы быть согласована через посредство раздражителей, которым оно соответствует, с организацией вещей, среди которых оно развертывается. Что не существует соответствия без обучения — это самое предполагает в движении и постоянная, и внутренняя топография, которая способна согласовываться с топографией среды. Эти локализационные структуры относятся ко всему, что обладает моторной деятельностью, иногда, несомненно, в чрезвычайно элементарной форме, как в реакциях, называемых тропизмами; иногда, наоборот, данная деятельность имеет весьма сложные формы, как дифференцированные автоматизмы, создающие поведение высших видов животных. В частности, у человека включение пространственного порядка в само движение выявляется при нарушении его выполнения, если этот порядок воображается, вместо того, чтобы быть предоставленным своей самостоятельной реализации. Тогда вновь возникают все затруднения обучения: например, у пианиста, который пытается вдруг представить себе передвижение своих пальцев по клавиатуре.

Между воображаемым пространством и моторным пространством может иметь место переход, но также и противоположность: их сущность различна. Обучение новым жестам исходит из их зрительной конфигурации, но заканчивается только после замещения их оптического распределения динамическим распределением, формы и реализации которого подчиняются мускульным влияниям и ритмам, которые постепенно делают их отличными от их прототипа-образа. Не будучи тождественными, или точно совпадающими, оба поля имеют нечто гетерогенное, что легко приводит их к конфликту. Вме-

сте со спонтанными автоматизмами миопсихические структуры предвосхищают представление. Маленький ребенок в поисках равновесия был бы в большом затруднении представить себе жесты, которые нужны для того, чтобы восстановить его. Регулировка жестов предполагает точное подчинение отношениям пространства и тела; но тогда пространство воспринимается ребенком более с помощью лабиринта, чем глазами. Напротив, именно к зрительным отношениям всегда больше сводится то, что можно было бы назвать объективным пространством, то есть пространством, в котором субъект может противопоставить себе внешний мир и который он может превратить в отправную точку познания вещей.

Именно здесь находится порог между психомоторной деятельностью и мыслительной: два различных плана, хотя и находящиеся в необходимой связи. «Переход одного плана в другой кажется происходящим в момент, когда понятие пространства, переставая смешиваться с пространством наших движений и нашего собственного тела, повидимому, сублимируется в системы мест, контактов, положений и связей, независимых от нас. Стадии этой сублимации идут от более конкретных к более абстрактным и имеют базой различные схемы, с помощью которых наш разум может классифицировать и распределять конкретные образы или абстрактные символы, на основании которых он становится способным размышлять» [1].

С практическим интеллектом пространство становится уже частично объективированным. Оно выходит уже за пределы динамической схемы собственного тела. Но если оно распространяется на отношения между объектами, независящими от нас, то все-таки именно на те, которые интегрируются в наших движениях, позволяя им достигать результатов, выходящих за их естественные пределы. Тогда уже появляются системы движений, которые имеют возможность изменяться в зависимости от воспринимаемых связей между вещами. Они могут стать совершенно отличными от спонтанных жестов

---

[1] H. W. Congrès de Psychologie de Paris., 1937. Vol. des C. R., p. 131.

непосредственного присвоения и обращаются в цепь операций, которые направляются орудием или приемом так же, как и целью. Между тем пространственная интуиция не является еще интуицией связей между объектами, взятых самими по себе. Она всегда включена в выполняемое движение. Орудия остаются присоединенными к жестам и являются только их продолжением.

Отличной от объективного пространства является также пространственная интуиция, относящаяся к языку. Именно она позволяет распределять части речи в порядке их последовательности. Пространственная интуиция отнюдь не существует для самой себя. Она только дает возможность предугадать правильный порядок благодаря своего рода одновременному воспоминанию, основой которого может быть только соположение, то есть пространство. Но это распределение проходит невоспринимаемым, за исключением случаев сомнения или затруднения, когда, например, нужно произнести мало знакомую фамилию или когда привычный автоматизм нарушается и нужно поправиться.

Тем не менее эта интуиция является уже высшим уровнем сравнительно с той, которую предполагает практический интеллект. Какими бы сложными ни могли стать проблемы, требующие решения вместе с интуицией последнего, элементы констелляции даны в плане восприятия, из которого и исходит решение. Кроме того, это восприятие полностью подчинено движениям, способным изменять ситуацию для того, чтобы привести ее в соответствие с искомым результатом. Если имеется осуществление новых связей, то все происходит в конкретном плане существующих в настоящее время связей и сил. Когда же дело касается, наоборот, установления порядка между последовательными элементами речи, интуиция, поддерживающая его в каждое мгновение, не имеет ничего перцептивного. Она может быть только мысленной, и ее уровень может быть измерен по тому факту, что животные, уже владеющие весьма развитым практическим интеллектом, знают еще только знаки в непосредственной связи с ситуацией, существующей в настоящее время, и не могут создать язык, который имеет свою структуру и независим от реакций, непосредственно вызванных вещью, ощущаемой в данный момент.

Интуиция, свойственная языку, существует без действительных ориентиров во внешнем мире. Она развертывается в плане чисто абстрактных инициатив. Нарушения, соответствующие их принадлежности в плане внешнего пространства, касаются также действия. Они затрагивают не способности узнать эффективные связи вещей между собой, а способность помещать объект в указанное положение даже тогда, когда указание настолько конкретно, насколько это возможно. Неспособность состоит в двух случаях: группировать или размещать, следуя определенному порядку.

Хотя и относящаяся к высшему уровню эволюции, эта интуиция растворяется в автоматизме языка как только речь становится беглой, тогда как с помощью практического интеллекта сочетания возобновляются и происходят новые констелляции между перцептивными моторными структурами. Трата изобретательности, которой требуют эти выдумки, может, следовательно, показаться гораздо большей, чем в речевых упражнениях. Но то, что нужно было бы сравнить с ней, является не употреблением уже банальных и стереотипных выражений, а приобретением ребенком знания языка, его попытки формулировать слова и использовать синтаксис, как и у самого взрослого, попытки, которые он может делать для того, чтобы распределить в соответствующем плане предложения или размеры логики или образы своей мысли.

* * *

Включенная в автоматизм языка и раскрывающаяся в известных случаях благодаря своей собственной недостаточности пространственная интуиция также необходима для нормального функционирования представлений, как это показывают здесь некоторые нарушения их функции, доводящие представления до затруднений периода их начального становления и освещающие противоречия, которые они должны были преодолеть. Навязчивые и неотвязные идеи являются предельным случаем, который может служить здесь примером.

Несомненно, эти нарушения объясняются весьма различно. Для одних они представляют собой результаты аффективного расстройства, нарушающего психическую деятельность, чувство страха, которое внушает

наличие некоторых образов. Они вызывают беспокойство одержимого и только временное облегчение, которое он может испытывать тогда, когда ему случается или удовлетворить одержимость соответствующим действием, или обойти ее таким поступком, который бы отвлекал или защищал. Другие больше подчеркивают его интеллектуальную сторону, обдумывание, сопровождающее ее, темы представлений, которые она развертывает, преобладание понятийных тем, составляющих ее.

Относя одержимость к психастении, П. Жане определяет ее как регрессию умственной деятельности. Вместо поведения, эффективно соответствующего обстоятельствам, потребностям и целям реальной жизни, происходит беспокойство, принимающее в интеллектуальном плане форму идей, проявляющихся ради самих себя с постоянной и монотонной неумеренностью. Этому механистическому объяснению Фрейд противопоставляет объяснение мотивацией. Одержимость является окольным, замаскированным удовлетворением некоторых желаний. Она — средство для побуждений бессознательного, отвергаемых цензурой, найти тем не менее доступ в сознание под покровом представлений или практики, которые маскировали бы их действительное значение.

Каждая из этих теорий содержит некоторую долю истины. Действительно, возможно, что одержимость имеет символический характер, и именно в этом отношении она относится к идеологической деятельности в ее примитивной форме, являющейся не логической, а скорее воображающей, в которой представления сочетаются между собой с помощью аффективных связей сходства и контраста или просто в зависимости от обстоятельств, свойственных личной жизни субъекта. Не вызывает сомнений то, что одержимость сопровождается беспокойством, а иногда интенсивными эмоциональными реакциями. Но по своей форме и своим результатам одержимость относится к интеллектуальной жизни. Она является идеологическим эквивалентом аффективности. Она указывает момент, когда аффекты переходят в мысленный план, но удерживает еще мысли в тесной зависимости от себя, что объясняет колебания, наблюдающиеся у одержимых между их аффективными реакциями и идеологическими реакциями: одни часто заслоняются другими. В этом отношении одержимость соответствует состоянию регрессии. Она имеет

также аналогию с инфантильной стадией мысли, на которой сознание непрестанно находится в состоянии чередования образов, отвечающих каким-либо стремлениям, и самих этих стремлений. Эти образы вместо того, чтобы обладать способностью развертываться идеологически, длятся или угасают на месте.

К тому же, как и представления ребенка, представления одержимого обладают некоторыми чертами, приводящими их к конфликту с требованиями текущего опыта и, в частности, с хорошо распределенными данными пространства или с отношениями «я» в пространстве. Действительно, кажется, что образ уничтожает расстояние и смешивает объект с субъектом. Присутствующий в уме, он кажется присутствующим в бытии самим по себе. То, что позволяет дифференцировать, — интуиция среды, которая выступает посредником между самим образом и его внешним мотивом, — устраняется. Такой одержимый, например, не может встретить похороны без того, чтобы не почувствовать себя буквально затронутым ими, так, как если бы он ощущал с ними физический контакт. В то же время он истолковывает это впечатление, которое не может соответствовать никакой мыслимой (intelligible) реальности, как связь с его собственной жизнью или с жизнью его близких. Несомненно, можно сказать, что первоначальный поступок является аффективным и что локальное впечатление — захватывающий образный перевод испытываемого чувства. Но различие не кажется основанным вначале на чувствительности и мышлении. Первоначально пространство не является порядком между вещами. Это скорее свойство вещей в связи с нами самими, и в этой связи велика доля аффективности, принадлежности, приближения или уклонения, близости или удаленности. Вместо того чтобы предполагать в чувствах одержимого истолкование, перестановку, кажется более справедливым видеть здесь возвращение к состоянию, предшествующему точной дифференцировке впечатления и его объекта, «я» и своих впечатлений.

Другие формы одержимости дают еще более ясный пример нарушений в отношениях пространства. Фобик, или одержимый, часто становится неспособным оценивать расстояния и скорости, так что он боится результатов, делающих невозможными все предвидения пространственного порядка. Собираясь пересечь улицу и замечая на

некотором расстоянии автомобиль, больной испытывает впечатление как будто автомобиль уже наезжает на него. Это, как только что было сказано, смешение локально воспринятого объекта и своей личности. Благодаря возвращению к наиболее общей форме ощущений, то, что он видит или воображает, выражается тоже в физическом контакте. Больной более неспособен ни разместить каждую вещь на соответствующем расстоянии, ни, особенно, противопоставить своему ощущающему «я» объекты своих ощущений. Он не умеет более использовать пространство как дифференцирующую среду.

Другим, еще более поразительным примером является род фобии или одержимости, который кажется основным родом фобии, передающим неуверенность в нашей собственной устойчивости среди вещей, нашего равновесия в пространстве, иначе говоря, агорафобия, или боязнь пространств. Она заключается в том, что субъект считает невозможным пересечь свободное пространство. Он чувствует в момент, когда отваживается на это, непреодолимый страх, его ноги подкашиваются, равновесие покидает его. Кажется, что здесь речь идет о регрессии к стадии самых первых его локомоций. Между тем маленький ребенок может шататься и падать, хотя волнение не сопровождает его первые шаги. Напротив, он часто смело бросается вперед. Пространство, отделяющее его от кресла, за которое он мог бы ухватиться, не является пропастью, на краю которой его охватывает головокружение. В агорафобии имеется нечто, выходящее за пределы простой моторной недостаточности, и это именно неудержимое, несвоевременное, негибкое, неподдающееся приспособлению к действию представление. Никакое чувство безопасности для агорафоба невозможно, если он не идет вдоль границ пространства, находящегося перед ним.

Не является ли это расстройством, аналогичным расстройству у афатика, который может поместить объект только у краев доски, на которой он действует? Точно так же маленький ребенок часто может начать свой рисунок только от края бумаги. В каждом из этих случаев представление, повидимому, конденсируется на объекте или конкретном случае; пустые промежутки теряют всякую реальность и, следовательно, не могут использоваться для создания общей опоры, которая позволила бы отождествить и рассчитать соответствующее положение каж-

дому в отдельности и по отношению к субъекту. В итоге— это неспособность представить себе пространство, в котором должны располагаться вещи или действия. Единственное различие между афатиком и агорафобом заключается в том, что нарушенными связями для первого являются связи уже объективированные, а для второго — собственное положение в пространстве, которое он берет под сомнение, что приводит к расстройству автоматизмов, регулирующих его. Если учесть различие между объективной деятельностью и субъективной, то затруднение в обоих случаях состоит в распределении действий и объектов в пространстве вследствие неспособности вообразить пустое пространство, то есть пространство как простую систему ориентиров между объектами и восприятием или между нашими движениями и средой. Это происходит именно в плане представлений: затруднения фобика связаны с ненадлежащим вмешательством представления в автоматизмы.

Принцип этого затруднения был замечен первыми мыслителями, искавшими, каким образом можно было согласовать действительность и представление. Именно в связи с одним одержимым Шаслен (Chaslin) и Мейерсон могли вспомнить знаменитые антиномии элеатов. Невозможно, говорит Зенон, чтобы стрела, пущенная в пространство, когда-нибудь достигла своей цели, потому что между каждым из ее последовательных положений и целью имеется бесконечность последовательных положений и чтобы их пройти необходима была бы бесконечность последовательных моментов. Иначе говоря, бесконечная делимость пространства и времени делает всякое движение невозможным. И, с другой стороны, как представить себе перемещение стрелы, если необходимо, чтобы в каждый момент она занимала некоторое место, исключая все прочие? Конкретный, пространственный образ объектов создает затруднения для изменения их места, точно так же как и вообще факт их представления.

Другие аргументы Зенона приводят к подобным заключениям. Какими бы ребяческими ни могли они показаться, эти аргументы тщательно обсуждались философами и математиками. Они приводят к тому утверждению, которое было повторено Бергсоном, что нельзя ни составить движение из последовательных положений, ни создать его из неподвижности; итак, представление уста-

навливает границы бытия и делает его неподвижным. Логические, но абсурдные при сравнении с опытом, эти аргументы должны были, согласно Зенону, доказывать единство бытия, то есть представить бытие избегающим всяких связей, всякого раздробления, всякого различения. Таким является общее бытие, которое может существовать для мысли, еще непригодной к манипулированию интеллектуальными категориями.

Зенон отказывает бытию даже в сосуществовании с пространством и отрицает существование пространства как ненадлежащего, потому что в каждом воображаемом пространстве нужно вообразить границу и так далее. Теперь безграничность, бесконечное стали понятиями в известной степени обычными в продолжение возможной экстраполяции, результат которой мы были бы в большом затруднении представить себе. Но эта идея была совершенно неприемлема, в частности для представителей греческой мысли, обычные попытки которых заключались в том, чтобы восстановить вещь в ее форме или ее типе, заключить мир в рамки своего рода хорошо упорядоченной гармонии.

Затруднение, в которое поставил Зенон людей своего времени, соответствовало антиномии мысли в ее связях с необработанным опытом, который сначала мыслился только при условии стабильного, лишенного движения бытия, потери своего становления и своего движения, отвлечения от изменений. По крайней мере именно таково начальное состояние представления, когда оно начинает различаться. Это эффект, наблюдающийся у ребенка и у одержимого, представления которого восстанавливают своего рода примитивную безудержность. Эти представления диктуют вещам свои особенности. Они останавливают объект в пространстве, сводят пространство к объектам, которые оно содержит, ищут возможность различения между мыслящим субъектом и мыслимым объектом, но ограничиваются их соположением вплоть до того, что иногда еще сливают их. Это синкретическая, всегда субъективная мысль, в которую категории еще не проникли.

* * *

Ребенок неспособен не отождествлять с самим объектом обстоятельства или свойства, представляющие собой именно то, что позволяет воспринимать объект или

постигать его, но не относящиеся исключительно к нему, дающие средство классифицировать его между другими объектами, например с точки зрения размера, тяжести, цвета и т. д. Каждое из этих качеств, очевидно, является качеством в себе, и только в их совокупности оно существует для нас; но эти качества представляют собой в то же время что-то относительное. Они могут использоваться для сравнения объекта, определения, расположения его и составляют шкалу, дающую возможность установить его связь с другими объектами, сходство-различие которых может ограничиться только одним среди них. Качества сами поддаются более тонкому анализу, делая, таким образом, сравнение одновременно и более односторонним, и более распространенным: цвет может быть сведен к степеням нюансов, насыщенности, блеска, которые, в свою очередь, позволяют сравнивать данный цвет с другими цветами, то есть классифицировать через его посредство еще более обширные категории объектов. Но сам объект не только отличается от других объектов в отношении этих качеств; он может стать отличным от того, каким он был, изменить объем, вес, оттенок. Именно это может более всего вводить ребенка в заблуждение в его усилиях отождествить вещи, потому что он еще пленник своих представлений, своих образов-определений, сущность которых заключается в статичности.

Всякое представление стремится к точному и абсолютному пределу, принимает своего рода схематическую неподвижность, когда оно еще не вовлечено или уже перестало вовлекаться в течение активной мысли, способной приспособляться к разнообразию объектов, изменяться в зависимости от своих целей. Случай ребенка здесь может быть иллюстрирован еще патологией. После периода депрессии, приостановившей свободное движение его мыслей, один больной Виммера (Wimmer) рассказывал, что качества вещей казались ему строго соответствующими их сущности. Небо было абсолютно голубым, как на некоторых хромолитографиях; цветы — великолепно правильными. Случайности образа и степени ощущений стирались, и каждый объект имел как бы одно специфическое и неизменное качество. Море — голубое, земля — бурая, дом — белый, без смягчения и как бы по существу. Образы, нравящиеся ребенку, — это образы, представляющие собой такое схематическое упрощение. Они должны

быть образами, лучше всего соответствующими его представлению о вещах.

Между тем всякий образ, всякое ощущение являются частью совокупности, существуют только в структуре. Цвет воспринимается благодаря контрасту на нейтральном фоне; два цвета различаются на основании связи, которая превращает их в единую структуру. Сначала резко обозначенный, грубый контраст постепенно утончается, согласно Коффка, под влиянием функционального созревания, а также упражнения, опыта. Таким образом, качественная градация становится все более тонкой. Она допускает более точную дифференциацию цветов, звуков, форм. В то же время качество перестает быть качеством одного особого объекта, становясь «категориальным».

С этого времени включаются два обратных, но действующих заодно процесса. С одной стороны, объекты превращаются в набор переменных величин для того, чтобы определить место каждого среди других, в сплетении названий или знаков, причин и следствий. С другой стороны, предмету приписываются постоянные качества, *его* размеры, *его* форма, *его* цвет, *его* индивидуальность. Субъективные влияния, несомненно, входят в закрепление его основных черт. Они отчасти имеют отношение к аффективным настроениям субъекта, к его практическим способностям. Вновь увиденный в зрелом возрасте, знакомый в детстве объект может поразить различием между настоящим впечатлением и сохраненным воспоминанием. Тем не менее вера в его внутреннее постоянство остается непоколебленной, если он относится к тем, природа которых не изменяется.

Узнать форму, свойственную объекту, — значит свести разнообразие аспектов, в которых он может быть представлен, к своего рода канону. Эта форма отождествляется с его ортоскопическим аспектом, то есть с тем аспектом, который дает его ориентация, прямо перпендикулярная нашему взгляду. Согласно Бюлеру, этот образ является эквивалентом понятия в чувственном плане. Он представляет собой продукт памяти, впечатлений, наслаивающихся друг на друга вследствие неспособности ребенка противопоставить их между собой, отличить те, которые он воспринимает в настоящее время, от предыдущих. Но это смешение в один образ последовательно зарегистрированных образов не выражается в форме,

обладающей какими-либо естественными преимуществами, которая резюмирует их. Коффка, действительно, отмечает, что среди всех аспектов вещи ее ортостатический аспект является и случайным, и редким. Если он одерживает верх над другими, то это потому, что он приводит к особенно простой и легко улавливаемой структуре. В конкуренции между впечатлениями, полученными от объекта, предпочитается то, которое соединяется с правильной формой. Сам взрослый, если он не сведущ в искусстве рисования, изображает стул, помещая сидение и спинку под прямым углом. Несомненно, это значит слишком много приписывать оптической простоте. Действительно, прямоугольные фигуры — это те формы, которые ребенок узнает скорее всего между геометрическими формами, являющимися формами с определенными границами. Случайность и приблизительность здесь легче всего исключить: здесь речь идет скорее о сведении одного образа к другому, чем о выборе между образами. Когда форма представляет собой форму конкретного объекта, то не всегда легче всего отождествить с ним наиболее простую: ребенок очень рано узнает человеческое лицо, но гораздо позднее — его черты, сведенные к простым структурам, — то нечто невыразимое, что это лицо дает ему. Сведение становится здесь интеграцией. Восприятие является утилитарным и реалистическим. Оно создано для того, чтобы правильно направлять действие. За сенсорными впечатлениями и их специфическими структурами восприятие имеет тенденцию уловить структуру использования, в которую она превращает структуру самой вещи. Итак, ортоскопический аспект — это именно тот аспект, который лучше всего соответствует способу, каким объект создан и может быть взят рукой, переделан или пригнан к другим. Существенным основанием потребности определить его с помощью постоянных качеств является необходимость снять с него мерку благодаря и для нашей деятельности.

Кроме того, постоянство формы не является всегда точным. Если перцептивная точка зрения значительно отклоняется от ортостатического аспекта, образ объекта будет производным от двух и даст место промежуточной форме. Итак, речь идет не об образе, созданном накладыванием клише, не об образе, отобранном благодаря своей наибольшей простоте, а о стремлении заставить

совпасть данные восприятия и потребности практического действия. Когда отклонение слишком велико и, по крайней мере, временно не сводимо, приспособление смещается, оно более или менее перемещается от объективного к перцептивному. Это несовершенство, которое только может отклонить употребление самого объекта или возможность интеграции, постепенно развивающейся благодаря привычке, есть проявление динамического процесса, требующегося для сведения объекта к статическому, константному, единому образу. У ребенка результат этого долго остается непрочным, фрагментарным или двойственным. Для него мир объектов не имеет такого основанного на опыте постоянства, как для взрослого. Он остается проникнутым неуверенностью и даже иллюзиями и фантазиями.

Случай константного или реального размера объекта совершенно подобен. На расстоянии в 1 или 4 метра человек, на которого мы смотрим, кажется, сохраняет тот же рост, хотя от 1 к 2 метрам его образ на нашей сетчатке уменьшается на 3 четверти. Эта независимость между кажущейся величиной объектов и величиной их зрительного образа не абсолютна даже у взрослого. В отдалении человек кажется более маленьким, чем он есть на самом деле, и деревня, находящаяся очень высоко на горе или видимая с самолета, неизбежно кажется похожей на детскую игрушку. Следовательно, приспособление воспринимаемого и знаемого происходит только между некоторыми границами. Гельмгольц видит здесь результат опыта. Штерн ссылается на эмпирическую ассоциацию между зрительными и тактильными впечатлениями. Очевидно, их нужно сочетать также с моторными и локомоторными впечатлениями. Действительно, все поле сенсорно-мускульной деятельности, которая служит практической деятельности, принимает здесь участие. Объекты принимают здесь постоянную величину, потому что иначе они не могли бы играть в практической деятельности роль стабильных объектов. Постоянство величины существует для маленького ребенка только на очень незначительных расстояниях. Тем не менее неверно, как это утверждает Бюлер, в связи со склонностью ребенка к сказкам о гигантах и карликах, что он неспособен отождествить один и тот же объект в двух различных размерах. Наоборот, он очень хорошо узнает лица даже на самых маленьких

фотографиях. Тренировка его сетчатки является в действительности очень ранней и сопровождает его аккомодационные упражнения при наличии объекта, приближающегося к нему или удаляющегося; именно с первых месяцев глаза ребенка приучаются следовать за предметом. Ближайшее пространство, особенно, и даже исключительно, привлекающее внимание ребенка, является пространством, в котором вариации расстояний влекут за собой наиболее ощутимые вариации величины изображения предмета на сетчатке. Но отождествить воспринятый образ с изображениями на сетчатке — не значит ли это повторить в отношении размеров ошибку тех, кто спрашивает себя, каким образом перевернутое изображение объекта на сетчатке воспринимается поставленным прямо. Этот элементарный реализм смешивает с целостным актом восприятия, являющегося исследованием во многих отношениях, элемент, искусственно изолированный не только в потоке впечатлений, непрестанно изменяющихся, что умножает связи вещей и наших органов, но также и в их физиологическом цикле, в котором пункты передачи и связи многочисленны. Представление — это интеграция всех этих процессов; оно не представляет собой копию ни одного из них, ни их совокупности.

Благодаря восприятию объект узнается, размеры же относятся к известному объекту. В известных случаях величина может помочь узнаванию, но это именно потому, что она связана со знанием объекта. Когда ребенок хочет оценить размер, представить себе его образ, он обращается не к содержанию своего восприятия в данный момент, а к сущности, которую оно раскрывает ему. Восприятие для него только средство. Между тем воспринимаемая или воображаемая величина не существует изолированно. Она может различаться, отождествляться только в структуре через связи с другими размерами, которые составляли бы контраст с ней, или через связь с фоном более абстрактным и ставшим потенциальным для величин, отмеченных прежде. Ребенок начинает с грубых контрастов. В его первых структурах встречаются крайности. Он плохо схватывает промежуточное, не представляет себе переходов. Между ним и взрослым он с трудом видит переход. Естественно, что его собственный рост кажется ему нормальным. Взрослый оказывается гигантом, пропорции которого он доводит до их предела. Но

ребенок соответственно заинтересован очень маленьким, превращающим его слабость в силу; он с увлечением манипулирует насекомыми.

Это одновременное влечение к большому и маленькому соответствует той стадии, когда ребенок еще не владеет непрерывной идеальной шкалой, которая позволяет располагать объекты в зависимости от зарегистрированных или возможных величин. Именно возрастающая тонкость различения все более слабых контрастов направит его к этому. Таким образом возникнут все более многочисленные промежуточные величины. От контраста качеств идет тенденция к возникновению его противоположности: т. е. постоянного прогресса с неощущаемыми вариациями, т. е. сведения к подобному того, что было разнородным. Когда речь идет о размерах и объемах, слияние между интуицией этой серии и пространственной интуицией очевидно. Между тем процесс является одинаковым и для серий, в которых пространственный элемент может показаться отсутствующим, например, серий цветов [1] и звуков или даже мысленных серий.

Из частного случая исходит, следовательно, его противоположность, его категория. Сначала это происходит через дифференцировку постепенно более близких и более подобных структур. Но это происходит также благодаря проекции данных различий, как бы незначительны они ни были, на постоянном фоне, пригодном к сведению их. Ибо недостаточно их констатации; различия должны быть еще поняты как возможные во всем их случайном разнообразии. Необходимо нечто общее, хотя бы среда, в которой их можно располагать по желанию. Порядок различий, который нужно обнаружить, должен предшествовать им. Он должен сочетаться с возможностью, потенцией. Он должен быть потенциальным порядком. Именно в своей пространственной интуиции человек достигает этого совпадения образа однородной, упорядоченной среды и поля, представленного в свойственных ему реализациях, в своей возможности распространения, в своей возможности трансформировать вещи.

Именно из взаимной интеграции деятельности человека, развертывающейся вне него, и этим мысленным про-

---

[1] H. W. L'évolution psychologique de l'Enfant. Collect. A. Colin, IIIe part. chap. IV.

странством, возникшим из воспринимаемого пространства, как последнее возникло из сенсомоторного опыта и нервных структур, служащих основой ему, а не из простого соположения между качественными контрастами или перцептивными структурами, возникла способность разума группировать, классифицировать, знать. Как и все то, что является представлением, представления ребенка делают вещи неподвижными. Они разобщены, связаны каждая с отдельными неизменными сущностями. Представления взрослого, наоборот, научились двигаться в рамках категорий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы пытались определить с помощью ряда сравнений различных — и индивидуальных, и коллективных — деятельностей, как возникает мысль. Конечно, мы могли бы ограничиться тем, что отметили бы в ходе того развития, которое представляет собой поведение ребенка, момент, когда можно утверждать, что мысль имеет здесь свое значение. Но тогда мы пришли бы к post hos propter hoc, как если бы мысль по прямой линии исходила из того, что предшествует, и развивалась бы благодаря непосредственной преемственности. Но необходимо учитывать развивающееся существо, каким является ребенок. Его биологическое развитие не кончается на рождении. Функции появляются благодаря одному факту роста, который должен привести ребенка к воспроизведению родового типа. Иными словами, необходимо дать дорогу прогрессивному созреванию организма ребенка и его функций. На каждом этапе анатомические или функциональные структуры изменяются как бы сами собой. Новые отношения возникают из условий жизни, которые одновременно эти структуры делают возможными и которым они подчиняются в среде, которую они делают приемлемой для ребенка и которая навязывает себя им. Развитие происходит в результате непрерывного взаимодействия между его опытом и появлением факторов, еще не включенных сюда. Взятая с этой точки зрения проблема заключается не в том, чтобы свести каждый момент поведения к предшествующему моменту, как к его источнику, а в том, чтобы попытаться увидеть, что в условиях не должно быть ничего без связи с продолжением опыта, осуществленного прежде.

В традиционной психологии этот вопрос не ставился, поскольку она брала в качестве основного элемента

образ, повторение восприятия, которое само повторяет свойственные объекту качества и немедленно делает его доступным пониманию. Восприятия или образы сочетаются между собой для того, чтобы дать место абстракции и обобщению. Структура сознания устанавливается, как чисто идеологическая и статическая благодаря наслаиванию понятий, которые упорядочиваются между собой в зависимости от того, наиболее ли они близки к индивидуальным реальным вещам или же способны распространиться на более или менее обширные категории объектов.

Что эти конструкции не отвечают действительности психической жизни,— это ясно показывает необходимость наблюдать ее прогресс, ее становление, узнавать ее способы действия. Тогда ощущение лишается своей первичности по отношению к другим проявлениям психической жизни и вновь погружается в целостную деятельность. Тогда внимание переносится на поведение и реакции субъекта. Моторные функции в свою очередь выступают на первый план. Это слишком абсолютный поворот. Движения в себе существуют не более, чем изолированные ощущения. Движение совершается, порождая следствия, становящиеся причинами, которые в свою очередь порождают движение таким образом, чтобы вызвать, обследовать, упорядочить соответствующие ощущения: это — циклические реакции.

Между дальнейшими следствиями движения имеются следствия двух видов. Сначала следствия, обращенные к внешнему миру и рассматривающиеся до сих пор обычно, как имеющие источник в психической жизни. Между автоматизмами адаптации и психическими образами якобы имеется беспрерывность, как если бы их отношения к сенсорным ориентирам, умножаясь, могли бы механически переходить от движения к представлению. Но жест изменяется в то же время, как и среда, создающая его, и именно изменение среды схватывается более непосредственно. Следовательно, в деятельности намечаются две ориентации: одна ориентация, обращенная к внешним объектам, и другая — деятельность, относящаяся к самому себе, или «постуральная» деятельность, средствами и целями которой является собственное поведение субъекта. Это пластическая деятельность. Она возникает из подражания.

Но под влиянием каких стимулов, каких интересов развертывается эта деятельность? В положении о моторных схемах, которые наслаиваются или располагаются в системе между собой для того, чтобы, наконец, прийти к реализации представлений, они нагромождаются своего рода постепенным механическим развитием, полезность которого обнаружится только впоследствии. Постуральная функция, напротив, несет в самой себе причину своего прогресса. Сначала связанная со всей моторной и сенсорной деятельностью как фактор, необходимый для точного приспособления, опоры и подготовления, она становится благодаря взаимодействию положений не только связью между одновременными областями и последовательными моментами нашей деятельности, но и дает самому субъекту ощущение связи, существующей в настоящий момент, и своего реализующегося единства. Постуральная функция является первичной формой субъективного сознания, непосредственный интерес которого должен заключаться в том, чтобы сделать возможным минимум тесных связей и соответствие между «я» и другими.

Приспособление к поведению и, позже, к намерениям других совершенно необходимо для животных, живущих группами. Никакая стадная жизнь невозможна без этого взаимного уподобления их поведений между членами группы. Именно из этой необходимости возникает постепенно все более дифференцированное выражение аффективной жизни. Коллективное существование было «штампом» эмоций в той мере, в какой оно создавало между индивидуумами согласованность поведения и, следовательно, манеру поведения в связи с различными видами ситуаций.

Отсюда также возникло подражание. Несомненно, было необходимо, чтобы произошла своего рода перестановка. Взаимное приспособление, являющееся непосредственным и мгновенным, стало скрытой и персональной интеграцией впечатлений. Оно явилось субъективным способом повторения вещей. Таким образом, проявилась дифференциация между актом подражания и действительностью. Подражание конкретизируется как скрытая возможность, как созидающий динамизм, как потенциальная модель, которая сначала схватывалась только в своих эффективных осуществлениях, но затем могла оторваться

от них для того, чтобы стать чистым представлением. Подражание не являлось больше точным приспособлением к другому; оно стало подражанием сценам и событиям; оно сделалось инструментальным и дало место изображениям, которые четко противопоставили вещи знак.

Этот результат также исходит из своей противоположности, то есть из полного уподобления себя другому, изображения — объекту. Если подражание могло быть результатом стадного согласования индивидуумов, то это потому, что оно само было средством приспособления и действия. Пример первобытных людей показывает практическое значение подражания. Оно стало образом группы, ее гомогенности, ее непрерывности, ее тотемических предков, того, что превращает ее в существующее и продолжающее существование. Этим подражание стало под воздействием жизненноважных для группы обстоятельств. Необходимо было заставить его воздействовать на эти обстоятельства именно в качестве такового. На основании их полезности для жизни группы развились ритуалы подражания, откуда и возникли чистые представления.

Представление не было своего рода роскошью по отношению к действительности, простым созерцательным осознанием мира. Оно явилось как бы желательным прототипом вещей — вещей, таких, каких нужно было бы, чтобы они были, таких, какими они должны были быть модифицированы для коллективных потребностей и по воле группы. Следовательно, прототип — не простая копия вещей, но как бы их живая основа. Вопрос о том, являются ли наши представления индивидуальными или общими, плохо поставлен. В той мере, в какой представления были сначала желанием некой реальности, они предшествуют индивидуальному и превосходят его. Но они отнюдь не являются общими, ибо не имеют ничего абстрактного. Они представляют собой желание вещи совершенно индивидуальной и конкретной, но желание, в котором ожидание способно выйти за пределы каждого из случайных осуществлений. Представление начинает с отношения не к общему, а к родовому. Оно не является абстракцией, которая соответствовала бы серии объектов, лишенных их индивидуальных признаков. Она — потенциальное существование, то есть противоположность абстракции.

Вначале, как это показывает пример первобытных людей, было полное тождество между мыслью, представле-

нием, изображением и их влиянием на вещи и события. Удвоение сначала не являлось полным. Даже когда образ был уже дроблением реальности, продолжала существовать связь не только с существованием, но и с созданием. След этого остается очевидным на стадии платоновских Идей. Еще и в системе наших идей существует нечто от сегодняшнего дня. Чем же является современная наука, как не в какой-то мере созданием своего объекта? Так, отмечает Башелар, электрон всегда существовал. Но техника, возникшая из нашей научной переработки, получила отсюда совершенно новые результаты, заставив его пройти через наши лампы — триады, которые сделали его звуком.

В совершенно конкретной форме, в инструментальной форме таким образом может обнаружиться тесная связь наших мыслей и их объекта. Они имеют тенденцию воспроизвести его сначала с помощью приспособления собственного тела, затем с помощью изображения и, гораздо позже, научной техники. Цель всегда заключается в воспроизведении, реализации, создании. Средство — всегда представление, согласующееся сначала с мифом и затем с экспериментальной научной техникой. Во всех этих различных формах представление соответствует той же самой потребности наглядно представить действие.

Отношения образа к объекту оказываются одними и теми же, что и между образом и понятием. Здесь также имеют место бесполезные дискуссии о противопоставлении конкретного абстрактному, единичного общему. Статические различения изолируют с помощью своего рода мертвой препарации неразрывные моменты интеллектуального акта. Образы и понятие взаимно содержат друг друга. Потенциально они находятся одни в других. Движение мысли между ними — это не настоящее перемещение, это серия дополняющих ориентаций. Образная сторона — опора мысли на сенсорный или материальный аспект вещей. Понятийная сторона — опора сенсорного на принцип вещей, на то, что выходит за пределы их мгновенной видимости и делает их существующими. Здесь также родовое ведет к общему. Связанное с общим, это состояние мысли уже более не являющейся живой. Ограничиваться перечислением объектов, входящих в понятие, — значит объединять иерархию, отчего исто-

щается исследовательская и созидательная сила, которая ведет разум к действительности. Это относится к понятию логика, а не к натуралистическому и психологическому понятию значения.

Эти связи между образом и действительностью, образом и понятием, понятием и действительностью находятся в противоречии с мыслью, данной как неразложимая на образы, и психической жизнью, как созданной сочетаниями образов. В тесной связи, которая устанавливается между психической деятельностью и вещами, превращая их в существующие для субъекта, имеется момент, когда чисто сенсорно-моторная стадия переходит в мысленную. Сначала выражающая желание и ритуальная, мысль становится инструментальной и научной. Она постепенно последовательно располагает сенсорные и символические ориентиры. Действительно, по мере того, как расширяется цикл деятельности и связь между психической деятельностью и вещами перестает быть чистой мускульной реакцией на непосредственные раздражения, новые элементы входят в эту связь для того, чтобы заменить прямые воздействия среды. Этими ориентирами могли быть изображения, предназначенные для введения в настоящую ситуацию факторов, в данный момент отсутствующих, и постепенно они могли стать способом менее непосредственно вызывать в памяти образы вещей.

Говорить о вызывании в памяти — значит неизбежно отдать должное языку. Действительно, у первобытных людей ритуальные сцены с изображениями всегда сопровождаются речевыми заклятиями и рассказами. Несомненно, здесь имеет значение общая деятельность индивидуумов, и речь должна здесь проявляться, так как она является важнейшей частью этой деятельности. Но как жест действия, речь так же непосредственна, как движение членов. У ребенка ее полезность даже берет верх над полезностью жестов, обращенных к физическому миру. Она является обращением к поддержке других. На всех своих уровнях речь имеет социальную сущность. Речь содержит в себе возможность восстановить все ресурсы, все возможности, все социальные приобретения. Она — реальность того же порядка, что и все орудия, с помощью которых мы материально изменяем вещи. Впрочем, речь не отлична от них; речь способствует их существованию в той мере, в какой они сформированы другим, кроме

одной только необходимости момента или простого эмпиризма привычных ситуаций. Речь не только апеллирует к деятельности других; она оживляет деятельность каждого коллективным опытом и знаниями. Говорят, что слово — символ вещи. Слово — сначала реальность, потому что оно действие, принимающее отпечаток вещей и накладывающее свой отпечаток на них, подобно жесту, который изменяет вещи и изменяется сам в контакте с ними. Слово так же необходимо в психической деятельности, как и вещь; оно имеет не меньшую реальность, чем она. Видеть здесь только символ вещи — значит производить препарирование, лишающее психическую деятельность ее истинной жизни. Слово, как и жест, может иметь двоякую цель: вызывать изменение внешнего мира, вызывая действие; удерживать в себе внешний мир благодаря своего рода пластическому миметизму.

Здесь еще наблюдается та же смесь противопоставления и согласования, что и между образом и понятием. Более чувственный образ кажется более обращенным к вещи. Связанное с интеллектуальными принципами, посредством которых разум оживляет действительность, понятие кажется более близким к слову: его опора, его способ действия — это язык. Несомненно, язык создан из символов, а символы являются в известном смысле тем, что наиболее реально в вещах, потому что они формулируют основы их существования. Так, рационалисты считают, что интеллектуальные принципы имеют не только бо́льшую истинность, но также и бо́льшую реальность, чем ощущаемые вещи. Так же точно физик больше верит в реальность атома, чем в свои чувственные впечатления, потому что с помощью атома он объясняет эффекты, средоточием которых являются вещи, и из этого объяснения он выводит свою способность изменять их.

Но одновременно с противоположностью имеется и согласованность. Атом обретает свою реальность только благодаря тем мерилам, которые он позволяет контролировать во внешнем мире и которые он несет в себе. Слово также ничего не значит, если оно не включает в себя в каждый момент образы вещей и возможное возвращение к их чувственной реальности, в чем оно получает свое истинное мерило. Через слово и через понятие происходит взаимопроникновение индивидуального опыта и коллективного. Не существует понятия, каким бы абстрактным

оно ни было, которое не включало бы какой-то сенсорный образ, и не существует образа, каким бы конкретным он ни был, который не направлял бы слово и который не включал бы границы объекта в границы слова: именно в этом смысле и наш индивидуальный опыт уже сформирован обществом.

Возраст речи отмечен изменением в практических способностях ребенка. Речь еще не имела времени ни служить прогрессу его дискурсивной мысли, ни дать ему знаки, в которых он нашел бы средство одновременно устанавливать индивидуальность каждого объекта, перечисляя следствия или качества, соединенные в нем, и противопоставляя вариации этих следствий, степени этих качеств, как уже его связи с вещами показывают, что ребенок готов к раскрытию последовательного порядка вещей или серии, которая может их соединить, вместо того, чтобы только просто-напросто воспринимать их в зависимости от потребностей и частных целей своей собственной деятельности. Из этого следует заключить, что речь менее является причиной этого прогресса, чем его следствием. Условия, общие у нее с этой новой способностью, противопоставляют их друг другу в предыдущих формах интеллекта. И, тем не менее, они сами имеют с этими формами общие условия.

Имея противоположную направленность, дискурсивное понимание и ситуационное понимание, хотя одно происходит в плане представлений и символов, другое — в плане сенсомоторном; одно — через последовательные моменты, другое — через общие восприятия и использование обстоятельств, тем не менее, оба предполагают интуицию связей, имеющих в качестве необходимой основы пространство. Но от двигательного акта к представлению имелась перестановка, сублимация этой интуиции, которая, включаясь в связи между организмом и физической средой, стала психической схематизацией. Эволюция между действием и мыслью объясняется одновременно через противоположное и тождественное.

ПСИХОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ [1]

Является ли психология наукой, спрашивает себя иногда буржуазная мысль. Вопрос имеет два возможных смысла. Имеет ли психология в действительности предмет, который был бы для нее специфичен? Может ли предмет психологии отвечать научному детерминизму?

Первый вопрос — это вопрос, который Огюст Конт, отец позитивизма, решал отрицательно. Согласно Конту, в индивидууме имеется только биологическая сущность, изучением которой занимается физиология, и социальная сущность, целиком и полностью объяснимая социологией: две причинности, между которыми человеческая личность сводится к ничему.

Другая гипотеза — это гипотеза Бергсона и в настоящее время гипотеза экзистенциалистов. Наука — сумма приемов, которые могут иметь некоторую практическую пользу, но которые деформируют, искажают, извращают действительность. Действительностью является то, что испытывается, что переживается каждым, интуицией, которая, раскрывая нас самих, раскрывает нам также и мир. Мир, построенный, как мы полагаем, на этой интуиции, — это только совокупность произвольных систем, подавляющая нашу самопроизвольность. Тут мы уступаем свою свободу. Истиной является только то, что выражает нашу сущность, то есть постоянное, непредвиденное, единственное в своем роде и несравнимое обновление впечатлений, чувств или образов, в каждый момент возникающих в нашем сознании. Их последовательность не поддается какому бы то ни было определению. Это, следо-

[1] Henri Wallon, Psychologie et materialisme dialectique. Оттиск из журнала „Societa'“ Anno VII — N. Giugno 1951. Эта статья по просьбе автора включена в русское издание книги в качестве послесловия. — *Ред.*

вательно, иррационализм, положенный в основу существования. Под именем абсолютной свободы — это подчинение судьбе, той, которая, несомненно, связана с бытием каждого, но которая не становится от этого менее роковой. Это также своего рода пассивная партиципация с существованием вещей, возникающих из нашего существования. Это также своего рода неэффективная и чудовищная ответственность за все, что может быть результатом наших реакций, господами которых мы не являемся. Эти полные безнадежности следствия экзистенционализма раскрыты французским писателем Сартром в особенности. Они свидетельствуют о самоотречении, которое может усугубляться у некоторых представителей буржуазии в результате упадка класса буржуазии и очевидности его окончательного одряхления. Самоотречение связано с идеями мании величия. В психопатологии идеи самоотрицания и идеи личного величия всегда сочетаются.

Общая черта концепций позитивистов и экзистенционалистов — неспособность к полезному действию индивида, то как бы исчезнувшего между необходимостями, биологической и социальной, которым он подчиняется, то как бы гипертрофированного до размеров мира, но неспособного изменить его, ибо индивид содержит его в себе и созерцает, а также подчинен ему и не может включить себя как действующую силу между другими, составляющими его силами. Индивидуалистические претензии буржуазии тонут в конце концов в бессилии. Это сводится к разоблаченным Лениным («Материализм и эмпириокритицизм») двум порокам в представлении буржуазии о науке: или механистическому, или идеалистическому, а иногда тому и другому одновременно. Механицизм считает, что мир сводится к первичным и неизменным элементам, к действиям, которые ему были бы, так сказать, консубстанциональны, к постоянным законам без изменения, без нововведения, без прогресса, к неотвратимой необходимости, в каждый момент предвидимой для разума, который был бы достаточно разносторонен для того, чтобы созерцать ее в ее совокупности. Идеализм исходит из сознания для того, чтобы подчинить ему реальность, ставит сознание прежде материи, превращает мысль в принцип бытия; так, идеализм стремится подчинить мир своим определениям и тем самым ограничить перевороты, которые влекут за собой непрерывное становление вещей и

обществ. Утверждение, что мир всегда по существу идентичен самому себе, является тем, на чем могут сойтись одно и другое, механицизм и идеализм.

Этому статическому представлению о науке и мире соответствует специфическое различие между разными дисциплинами знания и между их разными объектами. Маркс и Энгельс, однако, подчеркивали то, что эти различия являются временными, так как они зависят только от ограниченности нашего разума и технических средств, которыми мы располагаем для исследования реальности; развитие наук, слияние одних с другими показали их правоту. Между тем еще и теперь существуют барьеры, кажущиеся непреодолимыми, и психология рассматривается то как придаток биологии, то как передняя общественных наук. Многим кажется, что различие между биологией и общественными науками по своему существу создает непроходимую пропасть. Именно этот, так сказать, гибридный характер психологии часто побуждает считать ее чем-то более или менее не учитываемым в научном отношении. И это потому, что она может связать две области, которые все еще противопоставляет друг другу реакционная метафизика, потому что она имеет первостепенное значение для диалектики.

Недавно отмеченная столетняя годовщина со дня рождения Павлова послужила поводом для советских ученых показать все значение его трудов для диалектики. Его творчество долго рассматривалось как чисто механистическое. Путем простого совмещения возбуждений во времени Павлов пришел к открытию условных рефлексов. Между тем он указывал, как его метод превосходит методы традиционной физиологии. Она изучала организм, функцию за функцией: кровообращение, пищеварение и т. п., выявляя каждую функцию со своими специфическими реакциями и со своими возбудителями, также специфическими. Это то же, что было в первых экспериментальных работах самого Павлова. Благодаря условным рефлексам не только были отброшены межфункциональные барьеры, но и функциональная жизнь поставлена в связь со средой. К специфическому раздражителю, соответствующему рассматриваемой функциональной реакции, присоединяются возбудители, которые могут относиться ко всякой области жизненных отношений.

Это результат того, что Павлов называет высшей нерв-

ной деятельностью, которую он локализует в коре головного мозга, месте связей, устанавливающихся между всем, что составляет жизнь организма, и всеми стимулами, которые могут изнутри воздействовать на нее. Высшая нервная деятельность связана с организацией нервной системы; она не является просто новым дополнением или добавленной деятельностью; это — деятельность дополнительная, имеющая особенно важное значение. Она отвечает необходимой связи организма со средой. Она создает для организма системы знаков, которые заставляют его реагировать соответствующим образом на обстоятельства в самом широком смысле слова. Ибо среда, на которую должен реагировать организм, является не только физической; это среда, от которой зависит существование каждого, то есть для человека среда, созданная его деятельностью, среда, в которой он находится, начиная с рождения — социальная среда.

Но этот обмен между организмом и средой, в каждый момент, отобранный высшей нервной деятельностью, — это больше не биологическое, целиком и полностью отличное от социального. Взаимодействие организма и среды является изначальным и основным. Речь больше не идет о том, чтобы отдельно устанавливать свойства одного и другого применительно к их особой природе. Речь идет о *процессе,* дополнительными составными частями которого они являются. И эта замена свойства процессом, субстанции действием есть именно тот переворот, который диалектика произвела в нашем образе мыслей.

Это взаимодействие живого существа и среды так же противоположно механицизму, как и идеализму во всех его формах. Оно неизбежно выходит за пределы связей, в известной степени дедуктивных, которые механицизм стремится установить между элементами и их разнообразными сочетаниями. Столкновения живого существа и среды требуют ответных реакций, которые нельзя предугадать, если исходить из элементов, потому что они должны быть приспособлены к часто непредвиденным случаям; они, таким образом, призваны осуществлять новые формы поведения.

Это взаимодействие противоречит идеализму, пытающемуся подчинить действительность сознанию, потому что он не может дать возможность сознанию фиксировать

порядок событий, которые происходили бы в сознании и которые детерминировали и направляли бы его реакции. Данное взаимодействие противоположно экзистенционализму и присущему ему индетерминизму, потому что фактически имеет место постоянное кондиционирование нашей психической жизни ситуациями, которыми она связана или в зависимости от ее тенденций, или против ее воли.

Но связи живого существа и среды обогащаются еще тем, что среда не является неизменной и что изменение среды может повлечь или уничтожение, или изменение существ, жизнь которых протекает в ней. Именно в соответствии со средой Мичурин создал новые ботанические виды и именно через способность к адаптации в определенных средах Лысенко стремится определить наследственность, до сих пор рассматриваемую большинством биологов как свойство, освобожденное от всех внешних влияний, передающееся из поколения в поколение без другого различия между индивидуумами, кроме непостоянного распределения их типичных элементов, генов. Здесь еще имеет место замена субстанции процессом.

Итак, в зависимости от их различий можно с помощью разнообразных сред порождать или заставить преобладать различные способности, находящиеся в потенции данного рода или индивидуумов. Таким образом, в человеческой истории различные типы цивилизации могли последовательно вызывать различно направленные формы деятельности. Исторический материализм — это продолжение и венец диалектического материализма. Изменяя условия своей жизни, человек изменяется сам. Для своего понимания, развития и часто даже применения навыки требуют знания абстрактных формул, систем, составленных из символов, в которых ощущаемые образы действительности замещены указателями выполняемых действий в плане того, что Павлов называет сигнализацией второй степени, то есть сигнализацией, в которой условный раздражитель не является больше ощущением, а словом и его заместителями все более отвлеченными от слова, какими могут быть математические символы.

Слово было в человеческой деятельности орудием превращения, которое заставило ее идти постепенно от чисто мускульного действия к теоретическому действию, что предполагает приспособление мозговых операций. Но здесь не было уничтожения одного действия другим.

Благодаря речи мир представлений мог организоваться и сконструироваться в стабильные, связные и логичные системы. Именно ею обычно кончаются или ею начинаются наши впечатления или наши действия. Но если речь господствует над ними, она не отменяет их. За представлением существуют жесты, которые подчеркивают его у детей или у интеллектуально мало развитых существ и которые должны были являться его первым эскизом в форме вымыслов или ритуалов [1]. Ритуал первобытных людей обычно мобилизует большую эмоциональную энергию. Становясь интеллектуальным образом, он освобождается от нее. Интеллектуальное размышление является редуктором эмоционального возбуждения. Тем не менее эмоциональность продолжает существовать. Эмоциональность может быть скрытым стимулом, но когда она берет верх, то приостанавливает или извращает размышление. Так могут вступить в конфликт противоположные деятельности, хотя и возникающие иногда одна из другой. Эти родственные связи и эти противоречия прекрасно сообразовываются с законами марксистской диалектики.

Именно марксистская диалектика придает психологии равновесие и значение, она избавила психологию от выбора между элементарным материализмом и бессодержательным идеализмом, между топорным субстанционализмом и безграничным иррационализмом. Именно она показывает, что психология является одновременно биологической наукой и общественной наукой, уничтожая таким образом разрыв, который спиритуализм пытался установить в мире между сознанием и предметами. Именно марксистская диалектика дала возможность психологии понять в одном и том же единстве живое существо и его среду, их постоянное взаимодействие. Именно она объяснила психологии борьбу, которая определяет поведение индивидуума и выявляет его личность.

Несомненно, случай психологии не единственный. Диалектический материализм имеет значение для всей области познания, так же как он имеет значение и для области действия. Но психология, главный источник антропоморфических и метафизических иллюзий, должна с бо́льшим успехом, чем все другие науки, найти здесь свою основу и свое истинное направление.

---

[1] См. выше А. Валлон, От действия к мысли.

СОДЕРЖАНИЕ

Анри Валлон

ОТ ДЕЙСТВИЯ К МЫСЛИ

Редактор *И. И. ЦЫГАНКОВ*

Художник *Н. Я. Шимановская*

Технический редактор *М. А. Белева*

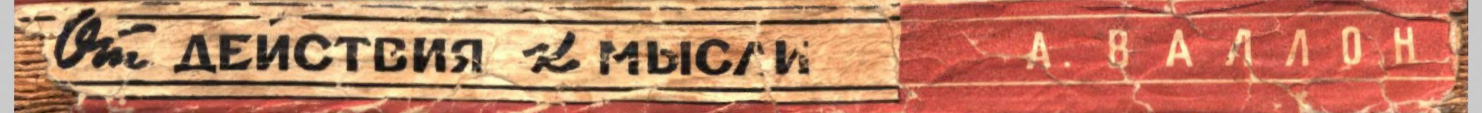
Корректор *Р. Я. Новик*

Сдано в производство 28/VII 1956 г.
Подписано к печати 28/XI 1956 г.
Бумага 84×108 $^{1}/_{32}$=3,8 бум. л. 12,3 печ. л.
Уч.-изд. л. 12,5. Изд. № 9/2955.
Цена 7 р. 50 к. Зак. № 1363.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, Ново-Алексеевская, 52

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности.
4-я тип. им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

7 р. 50 к.


От действия к мысли
А. ВАЛЛОН